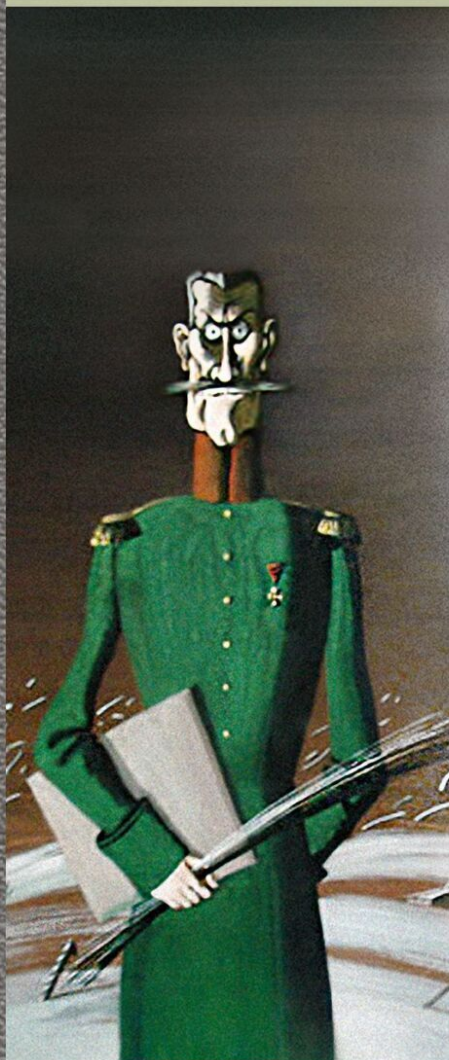


САЛТЫКОВ (ЩЕДРИН)



Сергей
Длиппренко



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия)

Сергей Дмитренко
Салтыков (Щедрин)

«ВЕБКНИГА»

2022

Дмитренко С. Ф.

Салтыков (Щедрин) / С. Ф. Дмитренко — «ВЕБКНИГА»,
2022 — (Жизнь замечательных людей (Молодая гвардия))

ISBN 978-5-235-04662-7

Этот писатель известен всем, его произведения давно входят в школьную программу, однако его биография известна немногим. Его настоящее имя – Михаил Евграфович Салтыков – и псевдоним «Н. Щедрин» прочно соединились в фамилию «Салтыков-Щедрин», которой он никогда не пользовался. В советское время его считали революционером, обличителем «язв самодержавия», хотя он был сторонником реформ и царским чиновником, дослужившимся до вице-губернатора. Книга историка литературы Сергея Дмитренко с небывалой прежде объективностью и полнотой описывает творческую и личную жизнь Салтыкова (Щедрина) – человека удивительного таланта и громадного трудолюбия, имевшего много друзей и ещё больше врагов, искренне любившего свою страну и верившего в её будущее.

ISBN 978-5-235-04662-7

© Дмитренко С. Ф., 2022
© ВЕБКНИГА, 2022

Содержание

От автора	6
Часть первая. Пушкин тринадцатого выпуска (1826–1848)	9
Спас-Угол	10
Из института в лицей	21
Запутанное дело	38
Конец ознакомительного фрагмента.	39

Сергей Дмитренко Салтыков (Щедрин)

© Дмитренко С. Ф., 2022

© Издательство АО «Молодая гвардия», художественное оформление, 2022

От автора

Москва. Кремль. К его северо-западной стене во времена князя Дмитрия Донского подступали поля с небольшим лесом посередине, отчего место стали называть Остров. Полтора века спустя сюда от грузной Кутафьей башни уже тянулась улица: поначалу именно она называлась Арбат (по-арабски *арбад* – «пригороды»: городом был Кремль, а здесь селились купцы из жарких стран – совсем и не дремотная Азия издавна стремилась в Белокаменную). Потом улица называлась Смоленской, а в XVIII веке её стали величать Воздвиженкой – при Иване Грозном основали в начале улицы по левую руку монастырь Воздвижения Честного Животворящего Креста Господня, что на Острове, в обиходе – Крестовоздвиженский. Но в 1812 году вторгшиеся в Москву наполеоновские войска монастырь разграбили-осквернили, и он был упразднён.

Так монастырский соборный храм эпохи Петра Великого стал храмом приходским, Крестовоздвиженской церковью. Сама по себе живописная, в стиле украинского барокко, ярусная церковь к 1849 году обрела и шестиярусную колокольню, построенную по проекту архитектора Петра Буренина. Такая архитектура особым образом знаменовала устремлённость ввысь всего сооружения. Стоящий на пути в Кремль храм с высокой колокольней, осеняя окрестные дома, словно перекликался-перезванивался с колокольней Ивана Великого.

В Крестовоздвиженской церкви 6 июня 1856¹ года венчались Михаил Евграфович Салтыков и дочь владимирского вице-губернатора, юная Елизавета Аполлоновна Болтина, рабы Божии Михаил и Елизавета. К сожалению, самого Крестовоздвиженского церковного ансамбля, располагавшегося близ нынешнего дома 7 на Воздвиженке, давно нет – он беспечально снесён в 1934 году при прокладывании линии метро. Потом и Крестовоздвиженский переулок на сорок лет переименовали: до 1994 года он был переулком Янышева – чем славен этот комиссар-чекист, сгинувший в огне Гражданской войны? Сохранились, правда, ворота монастыря, но их тоже уничтожили при строительстве здесь подземного перехода в 1979 году. Экскаватор, вгрызаясь в землю, разбил древние фундаменты, ковш стал тащить из земли человеческие останки – попали на монастырское кладбище... «Культурный слой!» – заволновались бы археологи, да только кто их сюда приглашал? В самосвал этот слой – и на вывоз. Переход построили, действует он и поныне.

Вздыхнув, воспользуемся этим чересчур дорогим тоннелем и перейдём на чётную сторону Воздвиженки, двинемся по ней вверх до пересечения с Моховой, затем повернём по Моховой налево – и так выйдем к ограде университета, об учёбе в котором Салтыков мечтал.

Свернём с Моховой на Никитскую, оставив по правую руку любимый студентами трактир «Британия» напротив Манежа... то есть экзерциргауза, так он в салтыковские времена назывался. Воображение разыгрывается, но только представляем, ничего не придумываем – здесь трактир и стоял, прямо напротив нынешнего входа в Манеж. Не очень-то приглядный домишко, но всем в Москве известный. Беседы об искусстве и эстетические споры в застолье, между пуншами и глинтвейнами – эта *атмосфера студенчества* вспоминалась Салтыкову до конца дней.

Теперь с Большой Никитской улицы направо к Тверской, в Никитский переулок, а здесь окажемся не перед Центральным телеграфом, а у стоявшего прежде на его месте массивного квадратного здания-каре с внутренним двором и садом. Это Дворянский институт. В нём подросток Салтыков провёл почти два года, а затем, в 1838 году как «отличнейший по поведению и по успехам в науках» (но против его воли) был отправлен в Императорский Царскосельский лицей...

¹ Все даты в книге, за исключением особо оговорённых, даны по старому стилю.

Обогнув Дворянский институт, пройдем по Газетному переулку назад, на Никитскую, а потом наискосок по переулку Большому Кисловскому. Здесь, на антресолях двухэтажного каменного, под белой краской дома помещалась редакция журнала «Русский вестник», где в августе того же 1856 года началось печатание «Губернских очерков» никому ещё не известного Щедрина. Книга сразу нашла тысячи читателей и открыла автору дорогу в литературу. Один из друзей, вспоминая Салтыкова той поры, сравнивал его с «чудесным кровным скакуном, который в крови и пене всегда приходил первым к цели и так восхищал всех».

Ещё вперёд, и Кисловка выводит нас на уже знакомую Воздвиженку, к нашей церкви, подле которой, представим, стоит то ли в раздумье, то ли в приятном волнении новоиспечённого супруга тридцатилетний худощавый брюнет, довольно высокий, в летнем пальто по моде того же самого, многорадостного для Салтыкова года, о котором он на склоне лет в очерке «Счастливец» скажет: «Хорошее это было время, гульливое, весёлое...»

* * *

На склоне лет, в частном письме – обращённом, впрочем, к собрату-литератору, Салтыков обронил: «Ежели будет моя правдивая биография, то она может быть любопытна» (Письмо А. М. Жемчужникову. 25 января 1882 года²).

Но что значит это – *правдивая биография*?

Кто может стать её состоятельным оценщиком, кроме самого главного героя?

Кажется, круг замыкается. Но Салтыков подсовывает предполагаемому биографу искуственный, казалось бы, выход. «Следить за личностью автора по его произведениям дело очень интересное и поучительное» – эту цитату, взятую из его рецензии, доводилось в качестве оправдания встречать в трудах, где сочинения Салтыкова «довольно широко» использовались «с целью извлечения из них автобиографического материала».

Однако мы в эту ловушку не полезем – ни ради поиска «внешнежитийных» подробностей, ни ради схождений «мировоззренческих и публицистических». Разумеется, статьи и рецензии Салтыкова, относящиеся не к беллетризованной части его наследия, дают немало фактов для размышлений и сопоставлений и пройти мимо них нам не придёт в голову. Но читать, например, «Пошехонскую старину» как автобиографическую книгу столь же нелепо, сколь высматривать в чертах Кругогорска из «Губернских очерков» силуэты реальной Вятки.

Мне повезло: когда я входил в круг серьёзного чтения, стало издаваться собрание сочинений Салтыкова-Щедрина в двадцати томах. Так что я вначале прочёл «Губернские очерки», «Историю одного города», «Помпадур и помпадурши», «Дневник провинциала в Петербурге» в этом донныне лучшем издании классика (сейчас оно удобно выложено и в Сети: <http://rvb.ru/saltykov-shchedrin/toc.htm>) и только потом стал разбираться с биографией и комментариями.

Но сразу хотелось пробиться к жизни Салтыкова сквозь идеологический треск и превратные толкования скрупулёзно собранных исторических фактов. Пробиваюсь до сих пор, и ниже следующее – итог моих попыток понять жизнь Михаила Евграфовича Салтыкова, подписавшего большинство своих произведений псевдонимом «Н. Щедрин».

Спасибо Владиславу Ходасевичу, который в предисловии к своему «Державину» обосновал главную цель авторов биографических повестей: *по-новому рассказать о писателе и попытаться приблизить к сознанию современного читателя его образ, порой забытый, часто затемнённый широко распространёнными, но неверными представлениями.*

² Здесь и далее произведения и письма Салтыкова цитируются по изданию: *Салтыков-Щедрин М. Е. Собрание сочинений: В 20 т. М., 1965–1977. – Прим. авт.*

И последнее: эта биографическая повесть по праву должна быть посвящена всем советским щедриноведам – архивистам, текстологам, историкам литературы, краеведам во главе с Сергеем Александровичем Макашиным. Их разыскания я беззастенчиво изучал и сопоставлял, а также благодарно использовал. Список литературы дан в заключение книги.

Часть первая. Пушкин тринадцатого выпуска (1826–1848)

Каждому человеку дороги самые первые его воспоминания о жизни. Им придаётся особое значение, в них видят черты знамений и пророчеств. Подавно особое внимание вызывают воспоминания о младенчестве выдающихся людей. И Салтыков вроде бы своих поклонников не разочаровал.

Вскоре после кончины Михаила Евграфовича его сотрудник по журналу «Отечественные записки», литератор по профессии, социал-радикал по образу мысли и действий Сергей Кривенко выпустил первую биографию писателя, где щедро делился впечатлениями о своём общении с классиком.

«Однажды мы заговорили с ним о памяти, – повествует Кривенко, – с какого возраста человек начинает помнить себя и окружающее, и он мне сказал: “А знаете, с какого момента началась моя память? Помню, что меня секут, кто именно, не помню; но секут как следует, розгою, а немка – гувернантка старших моих братьев и сестёр – заступается за меня, закрывает ладонью от ударов и говорит, что я слишком ещё мал для этого. Было мне тогда, должно быть, года два, не больше”».

Правда, в наследии самого Салтыкова собственноручных его подтверждений этому замечательному свидетельству обнаружить не удалось. Но камертон был задан.

Например, как ни объяснял писатель, что в его закатной книге «Пошехонская старина» «автобиографического элемента... очень мало», его столь же мало слушали, выводя именно из «Пошехонской старины» историю детства сатирика и особое его мировидение. Так, в первой салтыковской биографии советского времени соответствующая глава называется «Пошехонское детство» и начинается словами: «Страшно было детство Щедрина...» Впрочем, трогательное, но отнюдь не благое слияние живого писателя с его литературным доверенным лицом – вообще характерная черта трудов многих пишущих о Салтыкове-Щедрине.

Поэтому, чтобы удержаться на поле реальности, мы отложим пока что прекрасные щедринские книги и отправимся на родину Салтыкова.

Спас-Угол

Сейчас это север Московской области, Талдомский район, но так стало только в XX веке. Во времена Салтыкова его родное село Спас-Угол относилось к Тверской губернии и пребывало в самом *углу* Калязинского уезда, откуда и пошло название. В автобиографических заметках Салтыков назвал своих родителей «довольно богатыми местными помещиками», добавив: «Род мой старинный, но историей его я никогда не занимался».

Здесь заметим: ко времени появления Салтыкова на свет в русском национальном сознании уже прочно угнездился образ чудовищной Салтычихи. Эта помещица-садистка стала олицетворением произвола и всех мерзостей крепостничества. При этом Салтыковой Дарья Николаевна Иванова (1730–1801) стала только в недолгом замужестве (рано овдовела), а впоследствии по решению суда её было запрещено именовать как Салтыковой, так и Ивановой – впрочем, для народной молвы любые юридические решения не указ. Муж Салтыковой принадлежал к старобоярской, княжеско-графской ветви обширного салтыковского рода, а Михаил Евграфович – к менее именитой, известной с 1560-х годов, причём под фамилией *Салтыковых*.

Решительно изменил историческую судьбу семьи Тимофей Иванов сын Салтыков по прозвищу Курган. Он, как установил главный щедриновед XX века Сергей Александрович Макашин, отличился в русско-польской войне начала XVII столетия и позднее был записан в число «дворян и детей боярских», а также «верстан» поместным и денежным окладами. Но главное, что Салтыков ничтоже сумняшеся смог переделать свою фамилию на *Салтыков*, тем самым приписав себе принадлежность к упомянутому знатному роду. Не без сложностей она всё же перешла к его потомкам, среди которых был и Михаил Евграфович.

Вероятно, талдомские земли оказались во владении ещё Салтыковых и постепенно стали наследственной собственностью, вотчиной уже Салтыковых. Вотчина получила своё имя по сооружённой здесь, по некоторым данным, ещё в XVI веке первоначально деревянной церкви Спаса Преображения Господня. Она сгорела в конце XVIII века, после чего по велению бабушки писателя Надежды Ивановны на её месте возвели каменную. Затем в преобразование храма вложил силы Евграф Васильевич, отец: появились трапезная и колокольня. Спасская церковь сохранилась донныне, хотя при коммунистическом правлении её на полвека закрывали и разрушили ограду с двумя воротами и часовню. К счастью, кладбище, где упокоены многие Салтыковы, всё же уцелело. Здание церкви в стиле стандартного классицизма, впрочем, оживлённого некоторыми мотивами барокко, поставлено продуманно, на взгорке, а трёхъярусная, увенчанная шпилем, с парными колоннами колокольня, оказавшаяся сегодня у самой автодороги, вызывает у проезжающих и приезжающих бодрящие чувства, тем более после проведённого обновления её побелки и покраски.

В трапезной церкви к 160-летию Салтыкова открыли небольшую памятную экспозицию, а с 1990-х годов в церкви вновь идут службы. Сама салтыковская усадьба в Спас-Угле, расположенная, по сегодняшней топографии, напротив храма, через дорогу, выглядит заброшенным парком, в котором вольготно чувствуют себя бобры и прочая живность. Дом, где родился писатель, сгорел (или, скорее, был сожжён) в пожарах Гражданской войны. В 1976 году Советом министров тогдашней РСФСР было отдано распоряжение местным властям «восстановить историко-мемориальную усадьбу писателя в селе Спас-Угол», но до перестройки дело так и не сдвинулось, а потом стране стало не до мемориального Щедрина.

Но у нас есть возможность дать волю своему воображению, вдохновлённому фактами, и представить, что происходило здесь, в Спас-Угле, в январе 1826 года.

* * *

Михаил Евграфович Салтыков родился 15 (27) января 1826 года. Минул всего через месяц после произошедшей в Петербурге и аукнувшейся в Киевской губернии попытки государственного переворота, в точном значении слова – путча. Его называли *мятежом* (князь Пётр Вяземский), *заговором возмутителей 14 декабря* (Пушкин), а советские историографы – *восстанием декабристов*. Но все позднейшие оценки нам сейчас не интересны. Важно, как происшедшие события воспринимались их современниками. Пушкин, стремясь вырваться из михайловской ссылки, писал Жуковскому как раз во второй половине января 1826 года: «Кто же кроме правительства и полиции не знал о нём [заговоре]? О заговоре кричали по всем переулкам, и это одна из причин моей безвинности». В письме 7 марта он не менее красноречив: «Какой бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». Признание это адресовано Жуковскому, но Пушкину ли не знать, что его письма не зашторены от чужих глаз?! При этом мы можем предположить, что слова Пушкина передают отношение многих к мятежу и к мятежникам.

Вполне возможно, что сходным образом развивались мысли и у Евграфа Васильевича Салтыкова, отставного коллежского советника (то есть полковника), томившегося в Спас-Угле в ожидании очередных родов жены. Далёкий от веселья оборот эти мысли имели хотя бы потому, что в декабре у них во младенчестве, не дожив и до года, скончалась дочь Софья. Эта смерть была тем более печальной, что доселе его и Ольги Михайловны дети – Надежда, Дмитрий, Николай, Вера, Любовь – рождались и росли без особых тревог. Поскольку рожать Надежду, Дмитрия и Николая жена выезжала в Москву, в семью отца, постольку и теперь, для верности, надо было бы туда отправиться, но вот, поди ж ты, не сложилось (вероятнее всего, из-за смерти малышки), а теперь поздно, ведь без малого полтора ста вёрст, по зимним-то дорогам – что по тракту Угличскому, через Троице-Сергиев, что по старому Кашинско-Дмитровскому тракту, мимо Талдома через Вотрю, всё одно – двое суток...

Не тешил Евграфа Васильевича и его возраст. В наступившем году ему исполнялось пятьдесят – притом что старшей дочери, Надежде, было всего восемь. Сам-то он остался без отца в десять лет. Жена, конечно, у него хозяйка такая, что вся округа дивится, но дети совсем малы...

От размышлений о судьбе наследников сидевший среди спасских снегов и в крещенских морозах Евграф Васильевич, надо полагать, переходил к тревожным догадкам о том, что же всё-таки произошло в столице. То, что он знал о военном *возмущении*, – бесспорно. Бездетный император Александр Павлович, младше Евграфа Васильевича на год с небольшим, умер в ноябре, и наследником престола был объявлен его младший брат, Константин Павлович. С 27 ноября в Петербурге и в Москве армия, чиновники, члены Государственного совета приносили присягу на верность новому императору и самодержцу всероссийскому. Хоть и не было в те времена интернета, телефона и даже телеграфа, курьерская служба действовала исправно, Спас-Угол, несмотря на своё название, медвежьим углом не был, а Святки и новогодье распространению новостей, да ещё таких, только способствовали.

Конечно, Евграф Васильевич не знал, что Константин отрёкся от престола, не знал и о манифесте 16 августа 1823 года, согласно которому наследником престола объявлялся следующий брат, Николай – да ведь и сам Николай узнал об этом манифесте только после смерти Александра Павловича. Но даже узнав, не решился выполнить распоряжение покойного императора – и присягнул Константину. Но живший в Варшаве Константин стоял на своём и дважды заявил об отречении...

Впрочем, как раз эти придворные страсти едва ли произвели на Евграфа Васильевича особое впечатление. Дело в том, что его отец, поручик лейб-гвардии Семёновского полка Васи-

лий Богданович Салтыков, в солидном тридцатипятилетнем возрасте в 1762 году участвовал в дворцовом перевороте – и участвовал успешно. Ставшая императрицей Екатерина Вторая среди прочих вознаградила и его. Недолго думая, лейб-гвардии капитан-поручик Салтыков вышел в отставку, а также нашёл себе молодую невесту из купеческого рода Надежду Нечаеву, девушку не только с образованием, но и с сильным характером. И семья сложилась, лишь с сыновьями родителям не везло, Евграф был единственно выжившим из трёх, правда, ещё шестеро сестёр рядом...

Хорошо помнил Евграф Васильевич и годы правления императора Павла. Умная, дальновидная Надежда Ивановна серьёзно подготовила его к государственной службе по дипломатической части. На семнадцатом году жизни записала сына сержантом лейб-гвардии Преображенского полка, но главное, на свои средства дала ему серьёзное образование. Учителя приглашались не только из столиц, а также иностранные. Он прошёл курсы математики, географии, истории, изучал тактику, фортификацию и артиллерийское дело. Знал немецкий, французский, английский язык, затем выучил и голландский. Однако 1 января 1797 года только что обретший трон Павел безо всякой причины исключил Евграфа Салтыкова из военной службы, что ввергло того в тяжёлую тоску. Даже удачно выпавшая московская встреча с императором в пору Троицы 1798 года в итоге ничего в его судьбе не сдвинула.

Так что переворот 1801 года Евграф Васильевич, вне сомнений, встретил с воодушевлением, ибо вскоре подал императору Александру Павловичу прошение о пожаловании ему офицерского чина и уехал из Спас-Угла в Петербург. Здесь он даже ухитрился угодить в круг ордена мальтийских рыцарей, стать «юстицким кавалером великого приорства Российского» и получить кавалерский крест державного ордена Святого Иоанна Иерусалимского. Однако эти громкие титулы и отличия никаких доходов не приносили. Тогда Евграф Васильевич погрузился в иностранные труды и на основании извлечений из них подготовил внушительный трёхтомник – «Полный курс всей военной архитектуры, или легчайший способ изучиться инженерному искусству, собранный из лучших иностранных авторов и на российский язык переведённый с прибавлением кавалером Евграфом Салтыковым». Книга была посвящена государю и поднесена ему в надежде получить какое-нибудь учёное место в императорской свите. Однако выпал ему лишь чин переводчика в Государственной коллегии иностранных дел, причём поначалу даже «без получения жалованья», да и потом жалованье было не по столичным тратам.

Волей-неволей пришлось переводиться в Московский архив той же коллегии, входившей теперь в новое Министерство иностранных дел, и уже здесь 11 лет, до 1816 года, тянуть служебную лямку, впрочем, перемежающуюся книжно-переводческими занятиями и продолжительными отъездами в имение. Следует заметить, что в Спасском шла жизнь, которая не сводилась к сельскохозяйственным или матримониальным заботам. Так, Евграф Васильевич создал герб своего рода с генеалогическим «древом Салтыковых» – как впоследствии выяснили учёные, во многом легендарным, но, судя по всему, поддержанным матерью, Надеждой Ивановной. Зато она, да, пожалуй, и её дочери, как видно, не печалились по поводу холостого состояния Евграфа Васильевича и не стремились помочь ему определить семейную участь. Сам он задумался над сим предметом лишь после кончины мамёнки в 1813 году и обретения наследства.

Как отмечено выше, Надежда Ивановна была дамой образованной, начавшей вести историю семьи в книжках «Месяцесловов», неуклонно следившей за книжными новинками. Незадолго до кончины она просила сына прислать ей труд французского историка, королевского историографа Шарля Пино-Дюкло «*Considérations sur les mœurs de ce siècle*». Он вышел в Петербурге в русском переводе под заглавием «Рассуждения о нравах сего века». Скорее всего, книга сохранилась в библиотеке бабушки и едва ли была оставлена без внимания её внуком. Во всяком случае, у Михаила Евграфовича не раз встречаются рассуждения о нравах его века, разу-

меется, в соответствующем стиле обработанные. Однажды он, представляя свои сочинения, обозначенные как *сатиры в прозе*, даже просил читателей: «Примите меня благосклонно и не думайте, что я домогаюсь чести быть вашим учителем! Я только заношу, что между вами происходит, я описываю ваши нравы и обычаи, ваши горести и увеселения, ваши досуги и сновидения...»

Проблема этих самых *нравов* как существеннейшего начала человеческого развития волновала и многочитающего, многознающего Евграфа Васильевича. Политика нового императора довольно скоро стала вызывать его недовольство. Ещё в 1807 году, когда Александр поддержал континентальную блокаду Англии, устроенную Наполеоном, Салтыков, не подозревая, что ему суждено стать отцом величайшего сатирика, пишет обличительное стихотворение «Плач здешних жителей», где раскрывает козни *внутренних врагов*, воспользовавшихся затруднениями в товарообороте:

Враги же в свете есть бесстыдные плутцы,
Грабители людей, бесчестные купцы.
На сахар цену вновь и тотчас наложили,
Полтину стоит фунт, – рублём уж обложили!

Указав властям на необходимость ограничить аппетиты *мерзких плутов*, Евграф Васильевич, впрочем, не надеется на них и потому призывает другую силу покарать барышников, готовых ради выгоды дойти и до хриstopродавства:

Священные отцы! вы милость нам явите
И лихоимцев всех в соборе прокляните.

Любопытно, что в литературно беспомощных версификациях отца явственно просматривается та оппозиция, которая впоследствии предопределил общий пафос гениальных творений сына: стиль Щедрин отличает удивительное сочетание фантазмагорий, изображающих несовершенное земное мироустройство, с упрямо повторяющимися лирическими высказываниями, основанными на поистине религиозной вере в существование Идеала, который и есть высшая справедливость.

Также забавно заметить, что обличитель *бесчестных купцов* Евграф Васильевич и сам принадлежал по матери к купеческому сословию и невесту себе нашёл среди московских купеческих дочек. Ольга была дочерью откупщика (то есть купца, приобретшего право на вино- или солеторговлю) Михаила Петровича Забелина, а будущий тесть был всего одиннадцатью годами старше искателя руки его дочери. Нам ничего не известно о том, как пережил Евграф Васильевич наполеоновское нашествие и пожар Москвы, а состоятельный, вероятно, виноторговец, купец первой гильдии Михаил Петрович, если воспринимать вслед за щедриноведами известный фрагмент из «Пошехонской старины» как исторический источник, как раз в 1812 году сделал значительное пожертвование на армию и за это был награждён чином коллежского асессора (майора) и так получил право на потомственное дворянство.

Если же держаться документов, то мы не можем не отметить, что приданое, полученное Евграфом Васильевичем за пятнадцатилетней, недавно оставшейся без матери невестой, оказалось намного меньше, чем он рассчитывал, но всё же его хватило на то, чтобы поправить его ветшающую вотчину. Да и жена ему досталась хозяйственная и рьяно взялась за дела. Зато супруг в карьере не преуспел. Вышедший накануне женитьбы в отставку, Евграф Васильевич через несколько лет вновь попытался вернуться на службу. Он надеялся получить почётное придворное звание камергера, которое не приносило каких-то имущественных благ, но урав-

нивало с особами генеральских чинов, приближало ко двору. Тщетно! Потерпев неудачу, он окончательно погрузился в усадебную жизнь.

* * *

Щедринovedы нескольких поколений, порой с поистине детской наивностью, соединяли в своих работах многодневными усилиями добытые документированные факты с художественными пассажами из книг Салтыкова-Щедрина. Не без оснований полагая, что образ его матери, Ольги Михайловны, так или иначе отразился в соответствующих персонажах «Благонамеренных речей», «Господ Головлёвых», «Пошехонской старины» и так далее, они всё же не учитывали той творческой свободы, которой наделён даже писатель средней руки – а Салтыков был литературный гений.

Дочь его вятского знакомого Николая Ионина рассказывала, что отец всегда «возмущался, когда Михаил Евграфович говорил о своих родителях»: он «был чрезвычайно воздержан в словах и выражениях». Сходно писала в своих воспоминаниях и жена младшего брата Салтыкова Ильи: «Не могу простить глумления его над собственной семьёй, а в особенности выставления напоказ родной своей матери». Но если человек может быть субъективен в восприятии своих ближних, писатель и подавно не обязан быть *воздержан* в своих художественных фантазиях. Романы и даже хроники не могут быть источником информации. Объективные сведения о родителях Салтыкова мы извлекаем из сохранившегося, пусть и разрозненно, семейного архива, обращаясь к письмам Евграфа Васильевича и Ольги Михайловны, к другим документам.

Определённый интерес представляют и немногочисленные воспоминания. Так, племянница Салтыкова, дочь его младшего брата Ильи, Ольга Зубова, проведшая с бабушкой-тёзкой детство, замечала: «При описаниях краски ведь всегда сгущаются, а тип помещицы Арины Петровны Головлёвой, выведенный Михаилом Евграфовичем, это ведь художественный образ, а вовсе не портрет его матери, хотя при создании этого образа и были использованы кое-какие черты, действительно присущие моей бабушке. Насколько мне помнится, сам автор не раз ведь просил и устно, и в печати не считать его произведения за биографические или автобиографические. Была Ольга Михайловна в самом деле барыня-самодурка, крикливая и несдержанная, допускавшая иногда в своих поступках несправедливость и пристрастность, но не жестокая, не злобная и никогда никого не загубившая».

Нет свидетельств о том, получила ли Ольга Михайловна хотя бы начальное систематическое образование. Но её орфографически не очень совершенные письма показывают, что она чувствовала и любила живую речь, имела природный дар рассказчицы, языковой слух – она легко находит точные, незатасканные слова в описаниях событий, лиц, переживаний. Быть может, одолей она вполне грамматику – и этот стихийный разлив кипящей жизни потерял бы и сердечную горячность, и упругую страстность. Можно видеть, что в её характере деловитость сочеталась с живостью ума и разнообразными талантами. Будучи матерью семейства (в итоге родила девятерых), она, почувствовав необходимость, вместе с детьми стала учить французский язык – и выучила. А своих дочерей отдала в учение систематическое – в Московский Екатерининский институт благородных девиц (он, между прочим, помещался в бывшей загородной усадьбе графа Алексея Салтыкова, из другой, именитой ветви рода; теперь это Суворовская площадь Москвы, а здание занимает Культурный центр Вооружённых сил России). Ольга Михайловна была чутким воспитателем, куда более успешным, чем её витавший в эмпиреях муж.

Когда Евграф Васильевич стал жаловаться уехавшей в Москву жене на неумёху учителя, Ольга Михайловна ответила коротко и чётко: «Учитель глуп и от глупости не умеет

ими управлять... А ты не философствуй, о чистописании хлопочи и тверди ему о науках – вот главное, а у тебя голова пустяками полна».

В другом письме из Москвы мужу, пожаловавшемуся на непослушание и озорство сыновей, она снова проявляет своё педагогическое искусство: «Послушайте, дурные и непокорные дети, особливо ты, Николай. Вы меня до того раздражали, что я Веру и Любовь отдала на пять лет в институт. А про тебя просила, Николай, Государя, как непокорного и огорчившего сына, за дерзости и непослушание наставникам и разные пороки, куда угодно Государю удалить на вечное удаление от родительского дому и жду на днях предписания, чтоб тебя велел представить. Ежели же ты справишься и я получу от папеньки и твоих наставников хорошие отзывы, то могу тебя опять просить и спасти от вечного заключения, а не то – прощай навсегда. Я жертвую тобой, как недостойным сыном, для спасения, примерным наказанием тебя, меньших, коим Мише и Сергею, – приказываю себя вести кротко и послушно, иначе то же и с ними будет».

Вместе с тем Ольга Михайловна, сомневаясь в способности мужа руководить учением сыновей, отдаёт соответствующие распоряжения старшему сыну Дмитрию: «Смотри, чтоб дети... учились... Во время класса надзирай и останавливай их... И чтобы не играли всякий день по 2 часа и во время игранья на фортепиано ты будь подле них». Но главное то, что завершает она письмо красноречивым пассажем, написанным, обратим внимание, на отдельном листке. Начертанное здесь говорит очень многое и о личности Ольги Михайловны, и о том, что её воспитательные принципы были не стихийными, а имели убедительную психологическую основу:

«Митя, хоть я и пишу и приказываю тебе быть строже с братьями твоими, позволяю тебе их наказывать, ты то им письмо и покажи, чтобы они тебя слушались и боялись, но о сей записке им не говори, а мой совет таков: старайся их уговаривать ласково, но жестокости не делай, не озлобляй их против себя, помни, что они хотя меньшие, но равные тебе братья, то неприлично тебе жестоко поступать. Наказать в угол или как-нибудь увещевание благородным образом, но отнюдь не бить и подлыми словами не ругаться. И учитель ежели будет их ругать или бить, то ты его останови и скажи, что ты мне напишешь, но ему не позволишь так поступать без моего позволения, ибо я тебе поручила за обращением наставника глядеть и мне сказать и в случае дурного обхождения его остановить. И сам поступай нежнее и благороднее, за что я тобой буду благодарна».

Мы забежали немного вперёд, в 1834 год, когда Ольга Михайловна в Москве рожала последыша, сына Илью. Забежали намеренно, чтобы попытаться всё же увидеть мать писателя без искажающих теней. Нет нужды её приукрашивать, но тем более было бы странным составлять её мозаичный портрет из фрагментов, относящихся к соответствующим щедринским персонажам. И подавно нелепицей стали бы попытки рисовать в этой биографической книге *пошехонское детство* Михаила Евграфовича. Мы хотим знать, как выглядело детство *салтыковское*.

* * *

Ольга Михайловна разрешилась от бремени успешно и уже через день, 17 января 1826 года мальчика крестили в Спасо-Преображенской церкви. Новорождённый оказался наделён даром сочетать буйную творческую фантазию с педантизмом чиновника Министерства финансов и архивиста-историографа. Так что когда в пору работы над «Пошехонской стариной» он готовился праздновать день рождения, то в пригласительной записке одному из своих друзей счёл необходимым сообщить подробности происшедшего: «Принимала бабка повитушка Ульяна Ивановна, калязинская мещанка. Крестил священник села Спас-Угол Иван Яковлев Новоселов; воспитателями были: угличский мещанин Дмитрий Михайлов Курбатов

и девица Мария Василиевна Салтыкова. При крещении Курбатов пророчествовал: «Сей младенец будет разгонщик женский»».

Сказанное соответствует церковной метрической книге, но очевидно, что подробности своего рождения Салтыков знал также из родительских писем и семейных хроник, которые в той или иной форме вели и отец и мать. Но в записях Ольги Михайловны отмечено, что при совершении крещения Курбатов сказал несколько иное: новорождённый «будет воин». Едва ли Михаил Евграфович не ощущал себя литературным воином, но тем не менее и в пригласительной записке несколько сместил акценты. Между прочим, в «Пошехонской старине» появляется третий вариант, вновь подтверждающий, что надо воспринимать книгу Щедрина так, как просил Салтыков: «Она просто-напросто свод жизненных наблюдений, где чужое перемешано с своим, а в то же время дано место и вымыслу». Это плод художественной фантазии, а не простой источник материалов к биографии писателя. Здесь слова восприемника повествователь передаёт так: «Он предсказал и будущую судьбу мою, – что я многих супостатов покорю и буду девичьим разгонником».

Но по-своему любопытно и упоминание «разгонщика женского» в пригласительной записке. Так, скорее всего, самоиронически отразилась ревнивая любовь Михаила Евграфовича к жене, красавице Елизавете Аполлоновне, и притворная строгость к такой же красавице, дочери Лизе. Впрочем, о «разгонщике женском» мы ещё вспомним, когда обратимся к частной жизни молодого Салтыкова и к своеобразному отражению в его произведениях любовной темы.

А пока мальчик растёт. Ольга Михайловна на него не нарадуется и пишет уехавшему из усадьбы мужу: «Миша так мил, что чудо. Всё говорит и хорошо. Беспреданно со мной бывает и не отходит. Всё утешает меня в разлуке с тобой... Признаюсь, мой друг, я при нём покойнее и веселее, и все его целуют». Эта же говорливость и общительность будущего лидера журнала «Отечественные записки» отмечена и в другом письме Евграфу Васильевичу, относящемся к тому же сентябрю 1827 года: «Миша столько мил, что не могу описать. Вообрази, всё говорит, беспреданно у меня и поутру, как проснётся, то в столовую идёт меня искать, спрашивает: тятя где? маменька, чаю хочу. Идёт в твой кабинет, мы там пиём чай, потом возвращается в мою спальню, где все радости свидания и поцелуи, берёт за руку и ведёт: дай чаю, маменька. Сколько он меня утешает, что при нём немного забываю нашу разлуку».

Тогда же крепостной художник Лев Григорьев пишет первый портрет Салтыкова. В правой руке у младенца, судя по всему, погремушка, но держит он её так, словно это перо или даже скипетр.

На четвёртом году жизни сестра Надя берётся за обучение Миши азбуке, а вскоре гувернантка старших детей мадам де Ламбер начнёт преподавать ему французский язык. Впрочем, занятия эти шли, по разным сведениям, ни шатко ни валко, хотя иностранный язык давался Мише легче, чем родная речь. Только в январе 1832 года он, по его собственному позднему свидетельству, «был посвящён в русскую грамоту»: «Отслужили молебен и призвали крепостного живописца Павла, которому и приказали обучать меня азбуке, чтению и письму. Помню я и азбуку (с картинками: А – Арбуз, Д – Данило и т. д.), и красную указку, и самого Павла, высокого худого старика в зеленовато-желтоватом фризовом сюртуке. Учил он меня по-старинному *азами*, и выучил на всю жизнь. Так что и теперь могу проговорить азбуку только по-старинному: аз, буки, веди, а по-новому сбиваюсь... Впрочем, месяца через два я уже связно читал и даже писал по-линейному...»

Успехи во французском языке пришли одновременно: отца с днём рождения Миша поздравил французским стихотворением, подписав его: «*Écrit par votre trs humble fils Michel Saltykoff. Le 16 Octobre 1832*». Вероятно, это первый автограф писателя. Листок с ним отыскался в бумагах Салтыкова вскоре после его кончины, но наш «весьма скромный автор» задал исследователям задачу. То, что это стихотворение, с соответствующим изменением обстоя-

тельств его представления, попало в «Пошехонскую старину», не вызывает удивления и даже особого интереса. А вот его авторство не прояснено, и даже Сергей Кривенко, первый биограф Салтыкова и его сотрудник, не имел внятного ответа: то ли Михаил Евграфович «читал и писал по-французски раньше, чем по-русски», то ли «стихотворение было написано от его имени кем-нибудь из старших детей».

Так или иначе, этот эпизод и его толкование современником вновь отводит нас от превратно рисуемых картин жизни Салтыкова в отчем доме. Как видно, детство всех восьмерых детей Салтыковых – и пятерых братьев, и трёх сестёр, бесхитростно носивших излюбленные русские имена Надежда, Вера, Любовь (не забудем об умершей малютке Софье) – протекало не только в играх и забавах, но и в учении.

Особой радостью были поездки в Москву, к арбатскому жителю, дедушке Михаилу Петровичу (точно установлено, что он владел деревянным домом в Большом Афанасьевском переулке, где, вероятно, и скончался в 1840 году). По тогдашнему обыкновению Салтыковы проводили в Москве и некоторые зимы. Верно, из-за того, что дом отца был невелик, Ольга Михайловна, приезжая в Москву с разраставшимся семейством, нередко останавливалась в съёмных квартирах или домах – в арбатских переулках, на Тверском бульваре, Малой Дмитровке, Третьей Мещанской, на постоялом дворе у Сухаревой башни (разрушена в советское время, имя сохранилось в названии станции метро).

Постоянно ездила Ольга Михайловна в Москву и по делам. «Живу совершенно для семейства, для всех вас, домашних, обо всех хлопочу, а мне же спасибо нет» – это её заявление в письме можно прочесть по-разному. Чаще всего оно толковалось как «частнособственнический фетиш семьи». Однако как ни крути, а она чувствовала ответственность за обеспечение восьмерых детей при меланхолическом, мечтательном муже, уже входившем в возраст старости.

Ольга Михайловна внимательно изучила мужнины владения и принялась за преобразование. По площади и количеству душ (275) вотчина, которой владел Евграф Васильевич – то есть село Спасское с деревнями, – даже в пределах Калязинского уезда считалась средней. Но благодаря грамотному устройству хозяйства, очевидно, созданному ещё Надеждой Ивановной, была доходной. Из 3539 десятин земли (*десятина* – это чуть больше гектара) почти половина была отдана крестьянам, причём часть, оставленная за Евграфом Васильевичем, на три четверти была занята лесами. После прихода Ольги Михайловны доходность усадьбы стала неуклонно повышаться, и в 1832 году она, не отрываясь от постоянного деторождения, стала после аукционных торгов в Москве совладелицей села Заозерье (Заозёры), разумеется, вместе с двумя десятками деревень и с тысячью душ крепостных (напомним, что считали только мужской пол) в Угличском уезде Ярославской губернии.

«Совладелицей» означает то, что она приобрела лишь часть богатого села, бывшего вотчиной князей Волконских и Одоевских, а позже оказавшегося в собственности у нескольких помещиков. Село на юго-западе Ярославской губернии, через которое проходили три большие дороги: угличская, калязинская и ростовская, в течение XIX века крепло и разрасталось, становясь не только торговым, но и ремесленным центром. Заозерье было известно своими кузнецами, мастерами по выделке кос, расходившимися по разным российским ярмаркам, начиная с самой знаменитой – Нижегородской. Ярославщина издавна славна холстами, но и здесь особенно ценилось заозерское полотно, вывозившееся не только в российские столицы, но и за границу. В селе было две церкви – Казанской Божьей Матери на ярмарочной площади и кладбищенская церковь Успения Пресвятой Богородицы.

В высшей степени наделённая чувством реальности Ольга Михайловна мгновенно приспособила обстоятельства новых угодий к своим собирательским целям. Оставив себе сто десятин лесов, около 5700 десятин она передала на хозяйствование крестьянам. Поскольку от Спас-Угла Заозерье было в значительном отдалении (по прямой 50 вёрст, а дорогами, через Тро-

ицу-Нерль и Калязин, все 70 выйдет), Ольга Михайловна поставила почти всех своих крестьян на оброк, освободив их от обременительной для неё самой опеки, – и успешно.

Вероятно, именно Заозерье окончательно укрепило её в собственной жизненной силе, она полюбила это владение, часто бывала здесь, иногда с подрастающим Михаилом. В 1913 году в Угличе вышел любопытный историко-археологический очерк «Летопись села Заозерья», написанный священником Михаилом Миролюбовым «по церковным документам и устным сказаниям». Здесь приводится история о том, как Ольга Михайловна приобрела Заозерье, и приезжая туда, «нередко ходила в гости в дом купцов Ореховых. У них была икона Нерукотворного Спаса, которою Ореховы дорожили как добытою некоторым чудесным способом. Ольга Михайловна как ни придёт в дом Ореховых, так непременно и сядет против этой иконы. Придя однажды в дом и севши по обыкновению на этом месте, против иконы, Салтыкова и говорит: “Алексей Васильевич! я надеюсь, что ты не откажешь сделать для меня то, что я попрошу?” Орехов согласился. А она и говорит: “Подари ты мне эту икону Нерукотворного Спаса”. Всё семейство так и ахнуло. Стали было просить, чтобы она взяла что-то другое. Куда тут. Давай икону – да и только! Так и пришлось отдать икону, которую она и увезла в свой Спас-Угол».

Надо полагать, Ольга Михайловна прознала, что Орехов рассказывает о чудотворности этой иконы: вскоре после того, как Спас оказался в его доме, он, выходец из крепостных, разбогател – и тоже решила так своеобразно благословиться. Возразить на это нечего: богатство коллежской советницы Салтыковой продолжало приумножаться.

Вслед за далёким Заозерьем Ольга Михайловна присмотрела имение всего в десяти верстах от Спасского – село Ермолино с деревнями (тогда в России селцом называлось поселение с помещичьей усадьбой и несколькими избами крестьян, обслуживающих своего барина, иногда и с часовней). Ермолинское имение было куплено в 1836 году с явным замыслом стать до поры до времени резиденцией Ольги Михайловны. По её велению здесь вырыли пруд, разбили парк и сад, выстроили большой дом и переименовали село в Салтыково. Поблизости у деревни Станки, через которую протекала речка Хотча, воздвигли каменную церковь. Ольга Михайловна намечала передать преобразённое Ермолино Михаилу после его женитьбы. Но история приняла особый оборот, о котором будет рассказано в своём месте, и в 1859 году братьям Михаилу и Сергею Евграфовичам в совместное владение достались заозерские земли.

Увы, наш герой, в отличие от матушки, эти земли не очень любил. О том, как он в своём имении хозяйствовал, речь впереди, а пока отметим, что впечатления от Заозерья мелкнули уже в первом щедринском шедевре – «Губернских очерках». Здесь появляются большое село Заовражье и речка Уста – Устье в настоящем Заозерье. Поэтическое название «Заозерье» трансформируется под острым пером Салтыкова в довольно угрюмый топоним.

И в закатной «Пошехонской старине» не менее угрюмо звучащее Заболотье имеет своим прототипом, как в один голос твердят щедриноведы, то же Заозерье. И то сказать: близ Заозерья было не только озеро, но и обширное болото. Миролюбов в своей «Летописи...» дал зримое описание здешней местности, представляющей собой широкую болотистую долину, среди которой в версте от села находится небольшое, но довольно глубокое безымянное озеро с размытыми, топкими берегами. От этого озера, в совокупности с Терпенским (Харловским), в 27 десятин, болотом на восточной стороне села, разделяющим Заозерскую местность от Сигорской, вероятно, и возникло название села.

Впрочем, название «Заболотье» могло прийти в «Пошехонскую старину» совсем не как вольная фантазия салтыковского ума при виде ландшафта полученного наследства. Салтыков с детства знал другое Заболотье – село и окружавшую его топкую торфяную местность, порождённую стоячими водами речек Дубно (Дубна), Кунья и Сулоть (Сулать). Эти Заболотья находились на пути из Спас-Угла в Сергиев Посад, которым Салтыков много раз ездил. Тогда это был Переяславский уезд Владимирской губернии. Так что разрисовывать поля его произведе-

ний (да и не только его!) ссылками на предметы и факты из биографической хроники – занятие унылое, а порой и нелепое. Но подавно не следует превращать художественные сочинения писателя в источник исторической фактологии. Пожалуй, лишь однажды можно говорить об особых соотношениях жизненных впечатлений писателя с написанным им.

В абсолютном большинстве случаев на страницы художественных произведений, что называется, *с натуры*, без каких-либо домыслов, преувеличений и фантазий попадают описания природы, мест, краёв, где писатель родился, развивается и живёт. Разумеется, влияет угол зрения, под которым смотрит на мир писатель (в нашем случае нельзя не отметить, что Салтыков, по свидетельствам современников, был близорук), но это отражается лишь в особенностях колорита, цветопередаче, контрасте, не более.

Пейзажи в салтыковских книгах, прежде всего пейзажи российские, встречаются гораздо чаще, чем можно было бы ожидать от сочинений сатирического склада. Более того, к родной природе и даже к родной погоде Салтыков относился с истинно лирическим чувством. Тон был задан признанием ещё в «Губернских очерках»:

«По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших ёлок, который в простонародье слывет под именем “паршивого”; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растёт, а сменяющая её по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поёт больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоприятные туманы, которые, особливо по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю её. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она всё-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжился с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошной природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я всё-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моём сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее своё достояние».

В Индию и Бразилию Салтыков так и не попал (правда, последствия катаклизмов 1917 года забросили его внука в Мексику), да и российскую границу впервые пересёк только двадцать лет спустя после того, как написал эти строки – увидел наконец Европу. И всё же он не лукавил.

Работая в пору, когда пространные описания природы стали художественным анахронизмом и даже властелины литературного ландшафта отказывались от них в пользу изображения воздействий лесов и степей на переживания персонажей, Салтыков не пропускал удовольствия взяться за кисть пейзажиста. И как раз в «Пошехонской старине», словно в переключку с «Губернскими очерками», решил более подробно объяснить свои пристрастия, вновь связав это с дорожными впечатлениями:

«Хотя я до тех пор не выезжал из деревни, но, собственно говоря, жил не в деревне, а в усадьбе, и потому казалось бы, что картина пробуждения деревни, никогда мною не виденная, должна была бы заинтересовать меня. Тем не менее не могу не сознаться, что на первый раз она встретила меня совсем безучастным. Вероятно, это лежит уже в самой природе человека, что сразу овладевают его вниманием и быстро запечатлеваются в памяти только яркие и пёстрые картины. Здесь же всё было серо и одноцветно. Нужно частое повторение подобных серых картин, чтобы подействовать на человека путём, так сказать, духовной ассимиляции. Когда

серое небо, серая даль, серая окрестность настолько приглядятся человеку, что он почувствует себя со всех сторон охваченным ими, только тогда они всецело завладеют его мыслью и найдут прочный доступ к его сердцу. Яркие картины потонут в изгибах памяти, серые – сделаются вечно присущими, исполненными живого интереса, достолюбезными. Весь этот процесс ассимиляции я незаметно пережил впоследствии, но повторяю: с первого раза деревня, в её будничном виде, прошла мимо меня, не произведя никакого впечатления».

Да, литературное произведение почти никогда не может быть источником для биографии писателя. Но при этом оно почти всегда остаётся источником, в котором, как в зеркале тихого родника, можно разглядеть психологическое состояние человека в определённую эпоху и в определённых обстоятельствах. Имение Малиновец в «Пошехонской старине» – это не вотчина Салтыковых Спас-Угол в Калязинском уезде Тверской губернии. Однако переживания в Малиновце перенесены из Спас-Угла:

«Что касается до усадьбы, в которой я родился и почти безвыездно прожил до десятилетнего возраста (называлась она “Малиновец”), то она, не отличаясь ни красотой, ни удобствами, уже представляла некоторые претензии на то и другое...

Думаю, что многие из моих сверстников, вышедших из рядов оседлого дворянства (в отличие от дворянства служебного, кочующего) и видевших описываемые времена, найдут в моём рассказе черты и образы, от которых на них повеет чем-то знакомым. Ибо общий уклад пошехонской дворянской жизни был везде одинаков, и разницу обуславливали лишь некоторые частные особенности, зависевшие от интимных качеств тех или других личностей».

Из института в лицей

И всё же *интимные качества* со счетов не сбросишь. Документы свидетельствуют, что и мечтательный Евграф Васильевич, и волевая Ольга Михайловна устроили свою семейную жизнь таким образом, что главным нематериальным делом в ней было учение детей, причём без оглядок на так сказать гендерное различие.

Первоначальное образование дети получали в усадьбе, причём как раз Михаил Евграфович биографов запутывает. Несмотря на документальные свидетельства о его ранней грамотности, приведённые выше, в разное время он называл разный возраст, когда обучился грамоте, – то семь, то шесть лет. Также мы знаем, что гувернанткой у детей Салтыковых с января 1832 года была «мамзель Мария Андреевна Мертенс». Поскольку гувернантка Марья Андреевна появляется в «Пошехонской старине», мы, не отождествляя реальную Мертенс и литературный персонаж, всё же можем обратить внимание на психологические особенности портрета последней. Да и вообще образ гувернантки как таковой у Салтыкова получается неласковый, плохо соотносящийся с общегуманистической задачей, поставленной русской литературной критикой русской же литературе – поддерживать сырых и убогих.

Вот как изображаются Салтыковым гувернантки *на лоне крепостного права*: «Припоминается целая свита гувернанток, следовавших одна за другой и с непонятною для нынешнего времени жестокостью сыпавших колотушками направо и налево. Помнится родительское равнодушие. Как во сне проходят передо мной и Каролина Карловна, и Генриетта Карловна, и Марья Андреевна, и француженка Даламберша, которая ничему учить не могла, но пила ерофеич и ездила верхом по-мужски. Все они бесчеловечно дрались, а Марью Андреевну (дочь московского немца-сапожника) даже строгая наша мать называла фурией. Так что во всё время её пребывания уши у детей постоянно бывали покрыты болячками».

Также среди гувернанток младших детей Салтыковых была Авдотья Петровна Василевская, поступившая в их дом на эту службу после окончания Екатерининского института, где она была товаркой Надежды Салтыковой. Тогда Михаилу шёл девятый год, и сестра с Авдотьей Петровной стали обучать его музыке. Учение детей продолжалось и при поездках в Заозерье – здешний священник отец Иоанн (Иван Васильевич) обучал Михаила латинскому языку по грамматике Кошанского. Был среди учителей и «студент Троицкой духовной академии Матвей Петрович Салмин, который два года сряду приглашался во время летних вакансий».

В автобиографической записке 1878 года Михаил Евграфович итожит: «Вообще нельзя сказать, чтоб воспитание было блестящее, тем не менее в августе 1836 года, то есть десяти лет, Салтыков был настолько подготовлен, что поступил в шестиклассный, в то время, московский Дворянский институт (только что преобразованный из университетского пансиона), в третий класс, где и пробыл два года, но не по причине неуспеха в науках, а по малолетству».

Давайте разберёмся в подробности, куда попал Салтыков, когда попал и что это ему принесло. В Москве он бывал сызмальства. Она была для него родной уже потому, что оказалась первым большим городом – да ещё каким, первопрестольным! – который он увидел. В те времена Москва тяжело восстанавливалась после опустошительного пожара 1812 года, во время которого выгорели не только центр и окружающие части столицы, но отчасти Пречистенка и даже Немецкая слобода. В Москве осталось чуть больше пятой части из двух с половиной тысяч каменных домов, а деревянные (сгорела треть из шести с половиной тысяч) уцелели только на окраинах. В огне погибли лаборатории, музеи, архивы, библиотеки университета, в том числе единственный известный список «Слова о полку Игореве». Даже через десять лет население Москвы не восполнилось до предпожарного количества – недоставало почти двадцати трёх тысяч человек... Но эта историко-культурная и человеческая катастрофа имела

неожиданную сторону, и здесь парадоксальным образом прав полковник Сергей Сергеевич Скалозуб с его знаменитой фразой о Москве: «Пожар способствовал ей много к украшению».

До пожара Москва выглядела как сформировавшийся в течение веков конгломерат городских усадеб – разумеется, с садами, сараями и прочими хозяйственными пристройками. Теперь же повелением императора Александра I предусматривалось «исправление плана Москвы» ради «лучшего устройства и порядка в расположении ея улиц и кварталов». Помимо прочего, рядом с Красной площадью в самом центре Москвы появилась ещё одна просторная площадь – Театральная. Известная московская жительница Елизавета Янькова, урождённая Римская-Корсакова, вспоминала: «Увидев Москву в таком разгроме, я горько заплакала: больно было увидеть, что случилось с этою древнею столицей, и не верилось, что она когда-нибудь и могла застроиться. Но нет худа без добра: после пожара Москва стала гораздо лучше, чем была прежде: улицы стали шире, те, которые были кривы, выпрямились, и дома начали строить больше всё каменные, в особенности на больших улицах».

Так что в своём мнении Скалозуб был не одинок. Забавно, но его слова, причём отмаркированные *Грибоедов*, даже стали эпиграфом к главе «Улицы» в интересной для нас книге бытописателя Петра Вистенгофа «Очерки московской жизни», вышедшей в 1842 году. Вистенгоф пишет о том, что «с каждым годом наружный вид Москвы украшается быстрою постройкою огромных, красивых домов, принадлежащих казне и частным лицам; тротуары на многих улицах сделаны из асфальта или дикого камня... площади везде чисты и украшены фонтанами». О Тверской, в начале которой располагался Дворянский институт, сказано – «главная московская улица, идущая от Петербургской заставы к Иверским воротам, здесь находятся лучшие гостиницы для приезжающих, магазины, кондитерские лавки, множество красиво отстроенных домов и дом московского военного генерал-губернатора» (всем известное красное здание, принадлежащее сейчас московской мэрии; ныне, правда, оно имеет несколько иное обличье).

В преобразившейся Москве бурлила и умственная жизнь. Колоритный московский деятель Александр Кошелёв вспоминал о том времени: «Летнее и осеннее время мы проводили в деревне, а зимы – в Москве, куда мы приезжали в конце ноября или в начале декабря; я же ежемесячно совершал поездки в деревню. В Москве мы мало ездили в так называемый *grand monde*³ – на балы и вечера; а преимущественно проводили время с добрыми приятелями Киреевскими, Елагиными, Хомяковыми, Свербеевыми, Шевырёвыми, Погодиным, Баратынским и пр. По вечерам постоянно три раза в неделю мы собирались у Елагиных, Свербеевых и у нас; и сверх того довольно часто съезжались у других наших приятелей. Беседы наши были самые оживлённые; тут выказались первые начатки борьбы между нарождавшимся русским направлением и господствовавшим тогда западничеством. Почти единственным представителем первого был Хомяков; ибо и Киреевский, и я, и многие другие ещё принадлежали к последнему. Главными самыми исключительными защитниками западной цивилизации были Грановский, Герцен, Н. Ф. Павлов и Чаадаев. Споры наши продолжались далеко за полночь, и мы расходились по большей части друг другом недовольные; но о разрыве между этими двумя направлениями ещё не было и речи».

Сам год поступления Салтыкова «полным пансионером» в Дворянский институт, 1836-й, был отмечен ещё одним событием, прогремевшим не только в Москве, но и по всей России. В сентябре в отделе «Науки и искусства» 15-й книги московского «журнала современного просвещения» «Телескоп» появился русский перевод написанной по-французски статьи «Философические письма к госпоже ***. Письмо первое». Его автором как раз и был названный Кошелёвым Пётр Чаадаев, фамилию которого и мы знаем со школьных времён благодаря хрестоматийному стихотворению Пушкина. Известно и то, что царь Николай I, прочитав это письмо, объявил Петра Яковлевича сумасшедшим. Пострадали и другие: издателя журнала,

³ Высший свет (фр.). – Здесь и далее примечания автора.

философа и критика Николая Надеждина император выслал на житьё в Усть-Сысольск (это нынешний Сыктывкар, столица Республики Коми, тыща триста вёрст от Москвы). Цензором журнала был ректор Московского университета – выдающийся лингвист-полиглот и педагог Алексей Васильевич Болдырев, которого в итоге отправили в отставку.

Хотя соседствующий с университетом Дворянский институт, возникший после нескольких преобразований из Московского университетского благородного пансиона, был учреждением организационно независимым, его воспитанники, в большинстве грезившие об университетском студенчестве, так или иначе об этом скандале слышали. Что, разумеется, не позволяет нам фантазировать, как одиннадцатилетний Салтыков бегал по московским знакомцам и по трактирам (в ту пору уважающие себя трактиры выписывали журналы для привлечения серьёзных посетителей, о чём пишет упомянутый Вистенгоф) в поисках крамольного «Телескопа», а потом читал его под одеялом в дортуаре. С трудами Чаадаева он, если придерживаться точных фактов, познакомился в 1860 году, когда критик Николай Чернышевский из наконец привитившего Салтыкова журнала «Современник» подготовил для публикации перевод ещё одного сочинения к тому времени уже покойного Чаадаева – незавершённого трактата «Апология сумасшедшего», своего рода отповеди державному диагнозу. (Западник Чаадаев любил писать по-французски, справедливо полагая, что и в России те, кому это надо, найдут возможности прочесть желаемое на любом языке.)

В предисловии к публикации «Апологии сумасшедшего» (она, разумеется, была запрещена цензурой и в номер не попала) Чернышевский дал значительные отрывки из первого, телескоповского «Философического письма», но главное то, что именно в «Апологии» Салтыков нашёл пассаж, вскоре им использованный. Чаадаев писал (даём в переводе, имевшемся у Чернышевского): «История народа не только ряд фактов, следующих друг за другом, но и ряд идей, вытекающих одна из другой. Факт должен выражаться идеею – идея, принцип должны проходить через события и стремиться к осуществлению. Тогда факт не пропадёт: он озарил умы, он остался запечатлённым в сердцах, и никакая власть в мире не может изгнать его из них. Эту историю создаёт не историк, а сила вещей. Историк, являясь, находит её уже готовую и рассказывает её; но появившись он или нет, она всё равно существует, и каждый член исторической семьи, как бы тёмный и ничтожен он ни был, носит её в глубине своего существа. Вот этой-то истории у нас нет. Надобно нам приучиться обходиться без неё, а не побивать камнями людей, которые первые заметили это».

Как видно, эта мысль приглянулась Салтыкову и запомнилась. Вскоре, ища подступы к своей важнейшей теме взаимоотношений народа и власти, он в очерке «Глухов и глуховцы», так и не опубликованном при его жизни, писал, явно обыгрывая и развивая тезис «истории у нас нет»: «Истории у Глухова нет – факт печальный и тяжело отразившийся на его обитателях, ибо, вследствие его, сии последние имеют вид растерянный и вообще поступают в жизни так, как бы нечто позабыли или где-то потеряли носовой платок». Пожалуй, это единственный чаадаевский парафраз у Салтыкова, которого тоже можно причислить к западникам, правда, очень своеобразным.

Впрочем, наверное, не следует упускать из виду ещё одно схождение двух афористических высказываний тех же самых фигурантов русского исторического процесса. Первое, чаадаевское, дадим в том переводе, который знал Салтыков (часть его, правда, в другой оглазовке, широко используется по разным поводам и сегодня): «Больше, нежели кто-нибудь из нас, верьте мне, люблю я своё отечество, горжусь его славой, умею ценить высокие достоинства моего народа; но правда и то, что патриотическое чувство, меня оживляющее, не совершенно одинаково с тем, крики которого разрушили спокойствие моей жизни и снова ринули в океан житейских бедствий мою ладью, разбившуюся у подножия креста. Я не умею любить своё отечество с закрытыми глазами, с поникшим челом, с зажатым ртом. Я полагаю, что родине можно

быть полезным только под условием ясного взгляда на вещи; я думаю, что время слепых привязанностей миновалось».

В странном очерке «Монрепо-усыпальница» (1879) из цикла «Убежище Монрепо», которое один чуткий критик с полным основанием назвал «сатирической элегией», Салтыков, как и Чаадаев, собравший на себя немало обвинений с разных сторон, писал: «Я знаю, есть люди, которые в скромных моих писаниях усматривают не только пагубный индифферентизм, но даже значительную долю злорадства, в смысле патриотизма. По совести объявляю, что это – самая наглая ложь. <...> Я люблю Россию до боли сердечной и даже не могу помыслить себя где-либо, кроме России. <...> Хорошо там, а у нас... положим, у нас хоть и не так хорошо... но, представьте себе, всё-таки выходит, что у нас лучше. Лучше, потому что больней. Это совсем особенная логика, но всё-таки логика, и именно – логика любви. Вот этот-то культ, в основании которого лежит сердечная боль, и есть истинно русский культ. Болит сердце, болит, но и за всем тем всеминутно к источнику своей боли устремляется...»

Несмотря на то, что оба автора отважно используют в своих заявлениях образность, связанную с анатомией, и оба пытаются как-то достойно обойтись с безупречным жупелом патриотизма, всё же нельзя не видеть различия в их судьбах. Чаадаев и при жизни был, и в российской истории остался *басманным философом*, рано замкнувшись в своём флигеле и не претендовавшим на широкое признание. Напротив, Салтыков даже после закрытия «Отечественных записок» не только не успокоился, но с виртуозностью великого мастера слова отринул конъюнктуру публицистики, завоевав себе в историческом пантеоне России место в самой почётной его части – среди писателей.

И в московский Дворянский институт Салтыков поступал если без возвышенных мечтаний, то с явной уверенностью в том, что судьба ведёт его правильным путём. Его старшие сёстры учились в Екатерининском институте (Вера, правда, не успела закончить, умерев от скоротечной «простудной чахотки» в декабре 1839 года). Окончили московский Дворянский институт братья Дмитрий, Николай и впоследствии Илья. Сергей был выпущен мичманом из петербургского Морского корпуса. Эстафета учения в салтыковской семье, как видно, увлекла и Михаила. Переезд в Москву и начало жизни вне родительского дома он воспринял как новое время в своей судьбе.

Здесь нужно заметить, что как раз в том же 1836 году программа Дворянского института была преобразована. Если прежде воспитанники изучали философию, политическую экономию, политическую историю, теорию изящных искусств и даже «дипломатию», то теперь внимание переносилось на языки – латинский, немецкий, французский (также можно было добровольно изучать древнегреческий язык, но, судя по всему, Салтыкова эта возможность не увлекла). Много времени отводилось математике, изучались, разумеется, Закон Божий и священная история, история как таковая, география, черчение и рисование, преподавались и танцы. Но, главное, здесь уделялось серьёзное внимание изучению предмета, который назывался «российская словесность».

Григорий Данилевский, будущий автор исторических романов, в том числе «Сожженной Москвы» (впоследствии Салтыков не раз будет писать о его сочинениях), учился в Дворянском институте несколькими годами позже. В своих воспоминаниях об этом времени он отмечает: «Над Дворянским институтом в Москве, как и над родственным ему во многих отношениях, хотя и более молодым по времени открытия, Александровским лицеем в Петербурге, незримо как бы веяло знамя русской литературы...» Действительно, согласно программе воспитанники в третьем классе изучали «переложение из Крылова, более и более отдаляющееся от оригинала, чтение Карамзина с разбором периодов, переводы с иностранных языков, переводы с славянского, переложение из Ломоносова, Кантемира и других старинных писателей, подражания из Карамзина и других новейших писателей, построение правильных риторических периодов».

Кроме того, при изучении иностранных языков воспитанники читали не только «латинских прозаиков: Корнелия Непота, Аврелия Виктора, Евтропия», но и Виктора Гюго с Генрихом Гейне – то есть современных, даже молодых по возрасту писателей. Перевод «из Гейне» – «Рыбачке» – стал одной из первых публикаций Салтыкова, а впоследствии он писал о Гейне в частном письме: «...для меня это сочувственнейший из всех писателей. Я ещё маленький был, как надрывался от злобы и умиления (отметим это характерное сочетание! – С. Д.), читая его». Именно в институте Салтыков, помимо обязательных занятий, увлёкся переводами «для себя» – впрочем, во все времена это было распространённой формой литературного учения.

«Вступавшим под кровлю института ученикам, – продолжает Данилевский, – товарищи прежде всего указывали на золотую доску в его рекреационном зале, где были написаны имена Жуковского, Грибоедова, кн. Шаховского и других знаменитых русских писателей, кончивших здесь курс учения». О мраморных досках с позолоченными буквами в здании института на Тверской надо сказать несколько слов. Здание было выстроено на месте погибшего в пожаре 1812 года, а после его посещения императором Александром Павловичем в 1816 году на одной доске, осенявшей всех входящих сюда, были выбиты его слова: «Истинное просвещение основано на религии и Евангелии».

Здесь уместно заметить, что, несмотря на писания щедриноведов советской эпохи, воспевающие атеизм Салтыкова, его антицерковность и т. п., никаких достоверных свидетельств о таком мировидении автора «Христовой ночи», «Рождественской сказки» и «Сельского священника» у нас нет. Более того, ежели пытаться облечь – как долгое время предлагалось – «Пошехонскую старину» в форму «суда писателя-демократа над крепостническим строем», мы быстро начнём спотыкаться. Коль автор был преисполнен обличительного пафоса, зачем ему понадобилось оснащать своего главного героя проникновенным признанием о «потрясающем действии» на него Евангелия?

Описанию пережитого посвящены многие строки, их легко найти в книге, здесь же приведём лишь заключительные слова взволнованного монолога Никанора Затрапезного, которого щедриноведы обычно объявляют двойником автора: «Главное, что я почерпнул из чтения Евангелия, заключалось в том, что оно посеяло в моём сердце зачатки общечеловеческой совести и вызвало из недр моего существа нечто устойчивое, своё, благодаря которому господствующий жизненный уклад уже не так легко поработал меня. При содействии этих новых элементов я приобрёл более или менее твёрдое основание для оценки как собственных действий, так и явлений и поступков, совершавшихся в окружавшей меня среде. Словом сказать, я уже вышел из состояния прозябания и начал сознавать себя человеком». никоим образом, при честном отношении к слову, не найти во всём этом монологе сатирических или иронических интонаций – здесь Салтыков, бесспорно, передаёт своё восприятие и Евангелия, и христианской этики, которая, очевидно, для него не просто неоспорима, а жизнотворна.

Обратим внимание ещё на одну подробность. Законоучителем в Дворянском институте с 1834 года был протоиерей Иван Николаевич Рождественский, настоятель уже нам известной Крестовоздвиженской церкви, к которой был приписан институт. Документы и воспоминания свидетельствуют, что это был не только широко образованный человек, но и тонкий психолог, чутко разбиравшийся в мирских делах (консistorия отправляла к нему для вразумления, примирения или отрешения супругов, возалкавших развода). Очевидно, у Салтыкова сохранились добрые воспоминания и о хорошо ему знакомой церкви, и о самом отце Иоанне как духовном наставнике и проповеднике. И хотя в 1856 году Рождественский был уже настоятелем другой церкви, всё же церковь для важнейшего дела его жизни – венчания – Салтыков выбрал родную, институтскую.

Перейдём к другой почётной доске, сохранившейся в институте. Она была посвящена выпускникам пансиона, успешным в учении и прославившимся своими деяниями на благо Отечества. Эта доска сохранялась в Дворянском институте как подтверждение приверженности

традициям. Московский университетский благородный пансион окончили не только трагически погибший Грибоедов и ещё здравствовавшие при пансионере Данилевском поэт и переводчик Василий Жуковский и комедиограф, «пылкий» Шаховской. Среди его выпускников были переводчик «Илиады» Николай Гнедич, поэт и филолог Степан Шевырёв, энциклопедически образованный Владимир Одоевский, знаменитый военачальник Алексей Ермолов, трагический Лермонтов...

Много лет спустя, разбирая книгу с материалами для биографии Лермонтова, Салтыков заметил: «Судя по рассказам близких к Лермонтову людей, можно заключить, что это был человек, увлекавшийся так называемым светским обществом, любивший женщин и довольно бесцеремонно с ними общавшийся, наживший себе злословием множество врагов в той самой среде, над которой он ядовито издевался и с которой, однако ж, не имел решимости покончить, и, наконец, умерший жертвою своей страсти к вымучиванию и мистифицированию людей, которых духовный уровень (так, по крайней мере, можно подумать по наивному тону рассказчиков) был ниже лермонтовского только потому, что они были менее талантливы и не отличались особенно ядовитым остроумием. Одним словом, материалы эти изображают нам Лермонтова-офицера, члена петербургских, московских и кавказских салонов, до которого никому из читателей, собственно, нет дела. Но о том, какой внутренний процесс, при столь обыденной и даже пошловатой обстановке, произвёл Лермонтова-художника – материалы даже не упоминают».

Кажется, здесь Михаил Евграфович нашёл в Михаиле Юрьевиче не только определённые автопортретные черты, но и высказал своим предполагаемым биографам пожелание – разглядеть тот внутренний процесс, который произвёл Салтыкова-художника, но, разумеется, не в безвоздушном и не во вневременном пространстве. Поэтому вернёмся к памятной доске в Дворянском институте. Здесь есть одно имя, сохранение которого вновь подтверждает банальную, но постоянно забываемую или попросту не воспринимаемую истину: наше современное мировосприятие нельзя переносить на отношения, существовавшие в былые времена. На доске неизменно стояло имя выпускника, выдающегося интеллектуала Николая Ивановича Тургенева. Также он был знаменит как шестой декабрист, приговорённый к смертной казни, но заочно – успел уехать из России (император Николай I заменил казнь вечной каторгой, но и это не выманило умного Тургенева на родину). Тургенев был, во-первых, убеждённым республиканцем, а во-вторых, борцом за отмену крепостного права. Вступив в ещё в 1819 году в «Союз благоденствия», он стал призывать, как ему казалось, новых соратников в своей борьбе: «Освободите немедленно ваших дворовых и в силу закона добейтесь освобождения своих крестьян; благодаря этому не только будет меньше несколькими рабами, но вы покажете и власти, и обществу, что наиболее уважаемые собственники желают освобождения крепостных. Так разовьётся идея освобождения». Сам он так и поступил: своим дворовым дал вольную, а крестьян для начала перевёл с барщины на оброк.

Но что же соратники? А ничего. Как этим вольтерьянцам без рабов?! Никак! Призыв Тургенева они пропустили мимо ушей. Например, романтизированный многими декабрист Михаил Лунин, владевший тысячью крепостных душ, в том же 1819 году составил завещание, согласно которому его крестьяне после его кончины передавались в полное владение брату Николаю, а тот лишь через несколько лет должен был отпустить их – но без земли и с условием содержать своего благодетеля. Такое не могло прийти в голову иным консерваторам! Так что честный прагматик Николай Тургенев оказался в фантастической компании болтунов и прожектёров и, действительно, по своим талантам был куда опаснее графомана Рылеева, тоталитарного мечтателя Пестеля и даже тупого убийцы Каховского. (При этом, должен заметить в скобках, погибший от пули Каховского генерал Михаил Милорадович успел перед смертью передать просьбу Николаю I – дать вольную всем его крестьянам, и эта просьба была императором выполнена.)

Тот же император, прибывший летом 1826 года в Москву на свою коронацию и уже знавший, что среди бунтовщиков 14 декабря более полусотни выпускников Московского университета и университетского благородного пансиона, не отдал распоряжение внести коррективы в список на почётной доске. Хотя именно после его инспекции пансиона последний был лишён особых прав и преимуществ и подвергся глубокой перестройке, превратившись вначале в гимназию, а затем, с 1833 года, в московский Дворянский институт.

Знал ли об этих околодекабристских коллизиях Салтыков? Скорее всего, что-то знал, а про Николая Тургенева знал давно. Тем более что тот, оказавшись долгожителем, уже при Александре II не раз приезжал на родину. Но упоминаний о нём в сохранившемся наследии Салтыкова не находится, хотя о нём писали и «Русский архив», и «Вестник Европы», и другие издания, хорошо известные Салтыкову. Если закончить, наконец, перелицовку Салтыкова-Щедрина в фантомного *революционного демократа* или даже в *пламенного революционера*, придётся признать, что и бунтовщики 14 декабря, и даже специфическая деятельность разбуженного ими Герцена интересовали его мало. Хотя, вернувшись из Вятки, Салтыков и в «Полярную звезду» заглядывал, и в «Колокол». Почему бы нет? Собираение разносторонней информации не означает бездумного её использования. Как известно, и император Александр Николаевич читал издания своего удалившегося за пределы Отечества тезки...

Но вернёмся от страстей политических на ниву просвещения и вновь обратимся к воспоминаниям Григория Данилевского, свидетельствовавшего о нелёгкости учения в институте. «Несмотря на его осмысленность и отличных преподавателей, из числа учеников, поступивших в институт, кончали курс обыкновенно не более одной трети».

Но это не про Салтыкова. Хотя и оставили его, успешного в науках, по малолетству на второй год, а ещё через год ему пришлось институт покинуть, воспоминания о нём он хранил всю жизнь. Вначале они, художественно преображённые, возникнут в его неиссякаемо актуализирующейся феерии «Господа ташкентцы», а позднее в книге «Недоконченные беседы (Между делом)» – уже как рассуждения о былом, полные подробностей и признаков времени.

Впервые эти рассуждения появились в 1884 году в предпоследнем, перед закрытием, номере журнала «Отечественные записки» и были связаны с появившейся рекламой «гигиенических кушеток» системы Кунца из ясеневоего дерева для «наилучшего сечения» провинившихся детей – явное приготовление для уродения Кафки с его *In der Strafkolonie* («В исправительной колонии»). Саркастически сделав оговорку: «Я всё-таки очень рад, что кушетки эти изобрёл Кунц, а не Иванов», Салтыков вспоминает о телесных наказаниях в Дворянском институте:

«Я не припомню, чтоб лично я много страдал от розги; но свидетелем того, как терпела “средняя часть тела” за действия и поступки, совсем не по её инициативе содеянные, бывал неоднократно. Публичное воспитание я начал в Москве, в специально-дворянском заведении, задача которого состояла преимущественно в подготовке “питомцов славы”. Заведение, впрочем, имело хорошие традиции и пользовалось отличною репутацией. Во главе его почти всегда стояли ежели не отличнейшие педагоги, то люди, обладавшие здравым смыслом и человечностью. В первый год моего пребывания в заведении директором его был старый моряк, С. Я. У. (то есть Семён Яковлевич Унковский; директор московского Дворянского института с 1834 по 1837 год. – С. Д.), о котором, я уверен, ни один из бывших воспитанников не вспомнит иначе, как с уважением и любовью. Об сечении у нас не было слышно, хотя оно несомненно практиковалось, как и везде в то время.

Но, во-первых, практиковалось только в крайних случаях и, во-вторых, келейно, не задаваясь при этом ни теорией устрашения, ни теорией правды и справедливости, якобы вопиющей об отмищении именно на той части тела, которую г. Кунц именует среднею. Присутствовал ли при этих экзекуциях лично сам директор – не знаю; но уверен, что ежели и присутство-

вал, то не для того, чтоб кричать: “Шибче-с!”, а для того, чтобы своевременно командовать: “Довольно-с!”

Через год старый директор, однако, вынужден был удалиться. На его место был назначен бывший инспектор, добрый человек, но не самостоятельный, а в качестве инспектора явился молодой человек, до тонкости изучивший вопрос о роли, которую должна играть «средняя часть тела» в деле воспитания юношества. Этот молодой человек почему-то вообразил себе, что заведение, отданное ему в жертву, представляет собой авгиевы конюшни, которые ему предстоит вычистить, и, раз задавшись этою мыслью, начертал для её выполнения соответствующую программу...».

Здесь остановимся, ибо представляем читателю не хрестоматию, а биографическую повесть, которая должна споспешествовать самостоятельному чтению выдающихся в своей как сатирической, так и, главным образом, в психологической неувядаемости сочинений Михаила Евграфовича Салтыкова (Щедрина). Так что господа читатели соблаговолят обратиться к соответствующим страницам «Недоконченных бесед», а мы продолжим разглядывать время и место, в котором ныне пребывает наш герой.

Само собой, среди педагогов были не только страстные флагелляторы и, вне сомнений, тайные поклонники своеобразных сочинений маркиза Донасьена Альфонса Франсуа де Сада. Большинство прилежно выполняли свои профессиональные обязанности и, без сомнений, были вдумчивыми педагогами, ибо, сделав успешного ученика Салтыкова второгодником *по малолетству*, они дали ему возможность отличиться на торжественном собрании в Дворянском институте по итогам учебного года.

Мише было предложено прочитать стихотворение патриарха русской литературы и при том действительного тайного советника и орденов кавалера, друга Карамзина и Державина, поэта Ивана Ивановича Дмитриева. Он жил в Москве (скончался в октябре того же года), но на собрании, очевидно, не был и не имел возможности, как Державин Пушкина, благословить Салтыкова на литературное поприще. И то сказать: Михаил читал не своё стихотворение (это было впереди), хотя длинное дмитриевское «Освобождение Москвы», сокращённое для публичного исполнения, начиналось восклицанием:

Примите, древние дубравы, —
Под тень свою питомца муз!
Не шумны петь хочу забавы,
Не сладости цитерских уз, —

а завершалось словами о необходимости утвердиться «в прямой к Отечеству любви».

Словом, всё было хорошо, пока не стало ещё лучше. Как можно было заметить, учебная программа Дворянского института имела серьёзную гуманитарную направленность и открывала его успешным воспитанникам прямую дорогу в расположенный поблизости университет. Но после реформирования из программы этой выпал прагматический сегмент, а именно задача готовить не только поэтов и любомудров, но и квалифицированных чиновников, дипломатов и офицеров, между прочим, тоже. Поэтому в Царскосельском лицее, который, собственно, и создавался как инкубатор чиновников-интеллектуалов, были открыты вакансии для двоих «во всех отношениях совершенно достойных» воспитанников Дворянского института, которые каждые полтора года после сдачи экзаменов становились лицеистами на казённом содержании.

Получив в феврале 1838 года от министра народного просвещения очередное распоряжение на сей счёт, директор Дворянского института, очевидно, обсудив дело с педагогами, достойных кандидатов в лицеисты легко определил: Михаил Салтыков и его товарищ Иван Павлов. Однако предложение стать лицеистом в пушкинской *alma mater* Салтыкова не вдохновило. Много лет спустя он рассказывал своему врачу и приятелю, что собирався, окончив

курс в институте, поступить в университет. Увы! По обыкновению того времени, родители для ухода и наблюдения над своим отпрыском приставили к нему дядьку из крепостных. Звали его Платон и он много лет верно служил Михаилу Евграфовичу. При этом, согласно существовавшим правилам, в институте Платон был введён в состав комнатных сторожей и ему, как и другим сторожам, было назначено небольшое казённое жалованье... Узнав, что барин ехать в лицей не хочет, Платон незамедлительно донёс Ольге Михайловне (ну не Евграфу же Васильевичу!) о складывающейся ситуации, и мать расставила все точки над *i*: после вразумляющей выволочки Миша – вместе с Иваном Павловым и в сопровождении старшего надзирателя Сильвестра Жонио – 30 апреля 1838 года выехал в Царское Село.

Салтыков расставался с городом, который любил, в котором хотел продолжать учение и, вероятно, мог поселиться. Уже когда близилось завершение его учения в лицее, Евграф Васильевич предался новой мечте о будущем сыновей. «По моему мнению, гораздо лучше и способнее для всех вас служить в Москве, – писал он сыну Дмитрию, – где бы и ты, и Николай, да со временем бы и Мишенька могли быть ближе к нам и для содержания всякое продовольствие получать из нашей деревни, то есть бы в Москве и подолее производство в чины было, так это бы было не столь чувствительно, будучи всегда с своим семейством...»

В год, когда *Мишенька* поступил в Дворянский институт, отсюда за успехи в Царскосельский лицей также был переведён воспитанник Лев Мей, впоследствии известный поэт. У него есть раннее стихотворение «Москва», относящееся примерно к началу 1840-х годов и воспевующее «город-великан»:

Весь из куполов, блистает
На главе венец золотой;
Ветер с поясом играет,
С синим поясом – рекой,
То величья дочь святая,
То России голова,
Наша матушка родная,
Златоглавая Москва!

А Салтыков при всех своих лирических чувствах по отношению к этому городу в середине 1870-х годов именно с Москвой и с московским дворянством связывал стагнационные задержки в развитии реформ императора Александра II. Он задумал посвятить этой проблеме целый цикл и написал очерк «Дети Москвы», где, в частности, нашлось место таким строкам:

«Мой культ к Москве был до того упорен, что устоял даже тогда, когда, ради воспитательных целей (а больше с тайной надеждой на лёгкое получение чина титулярного советника), я должен был, по воле родителей, переселиться в Петербург. И тут продолжала меня преследовать Москва, и всегда находила во мне пламенного и скорого заступника своих стогнов. Я до сих пор не могу забыть споров о том, где больше кондитерских, в Москве или в Петербурге, и тех вопиющих натяжек, которые я должен был делать, чтоб отстоять хотя в этом отношении славу перед выскочкой Петербургом. Я припоминал и о кондитерской Тени на Арбате, и ещё о какой-то кондитерской у Никитских ворот, и, благодаря тому, что политические мои противники игнорировали большую часть равносильных кондитерских, которыми изобиловали Мещанские, Мастерские, Офицерские и проч., выходил из споров победителем. Этого мало: когда мы, москвичи (а нас было в “заведении” довольно), разъезжались летом на каникулы, то всякий раз, приближаясь к Москве, требовали, чтоб дилижанс остановился на горке, вблизи Всесвятского, затем вылезали из экипажа и целовали землю, воспитавшую столько отставных корнетов, в просторечии именующих себя “питомцами славы”».

Надо заметить, что за этими ироническими фиоритурами все современники, конечно, видели затаенный спор Салтыкова с редактором журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости», москвичом и тёзкой Катковым, с которым он было сдружился, но потом навсегда расплевался. Да только сатирические удары требуют прицельности, и коль целишь в Каткова, надо рушить его идеи, а не Страстной бульвар, где находятся катковские редакции, а тем более не сам город.

Тургенев, которого Салтыков всегда ценил, прочитав «Детей Москвы», вздохнул: «Довольно дешёвое и довольно тяжёлое, часто даже неясное глумление». Хотя в те же годы хвалил Салтыкова за изобразительную мощь и подвинул на создание «Господ Головлёвых». Впрочем, суждение о «глумлении» было высказано в частном письме и до Салтыкова едва ли дошло.

И главное: все эти литературно-политические коллизии были впереди. Апрельским утром 1838 года Салтыков выехал из родной ему Москвы в почти незнакомый Петербург.

* * *

В отечественном культурном сознании Императорский Царскосельский лицей навсегда и неразрывно связан с именем Пушкина. Между тем за долгие годы существования – 1811–1918 – из его стен вышло немало выдающихся деятелей, достигших известности и славы в самых разных сферах человеческой деятельности, хотя образование, даваемое здесь, всегда имело гуманитарно-юридический уклон. Кроме того, важная подробность в связи с вышесказанным: в отличие от Дворянского института, устав лицея запрещал телесные наказания.

О лицее существует огромная литература: как исследовательская, так и вполне популярная, причём переполненная неточностями и недоговорённостями. Вместе с тем нам повезло в том смысле, что сам Михаил Евграфович не раз высказывался о своём пребывании в лицее, что нельзя не учитывать даже при возможной субъективности его оценок. Успешно сдав экзамены – набрал 75 баллов при необходимых 64, – Салтыков, как и его товарищ Павлов, был зачислен в лицей, где 1 августа 1838 года начались занятия. Здесь был свой счёт выпускам – тому, где учились Салтыков и Павлов, было суждено именоваться тринадцатым (Пушкин был лицеистом первого выпуска, но набирали в лицей не каждый год).

К своему прилежанию и устремлённости учиться Салтыков относился самокритично. Такой увлечённости, как в институте, у него уже не было, хотя «в то время Лицей был ещё полон славой знаменитого воспитанника его, Пушкина, и потому в каждом почти курсе находился воспитанник, который мечтал сделаться наследником великого поэта». Вот и Салтыков – в своих записях о лицейских годах он неизменно сообщает об этом – именно здесь «начал писать». «За страсть свою к стихотворству претерпевал многие гонения», так что должен был укрывать свои стихотворения, «большею частью любовного содержания» в рукава куртки и даже в сапоги, «дабы не подвергнуть их хищничеству господ воспитателей, не имевших большого сочувствия к словесным упражнениям», однако «их и там находили», а также к чтению книг, которые не были определены учебными программами.

При этом, начиная со второго класса, воспитанникам лицея дозволялось «выписывать на свой счёт журналы». Прежде всего выписывались возобновлённые после перерыва «Отечественные записки» и журнал с несколько странным названием, но с богатым содержанием – «Библиотека для чтения», который издавал выдающийся учёный и столь же выдающийся литературный предприниматель Осип Иванович Сенковский. Также внимание лицеистов, в том числе и Салтыкова привлекали петербургский журнал «Revue Etrangere» (так и хочется перевести его название как «Иностранка» – здесь публиковали произведения современных французских писателей, среди которых блистали Бальзак и Жорж Санд), а ещё нечто новое – «Маяк современного просвещения и образованности», журнал, издаваемый генералом-кораблестро-

ителем Степаном Бурачком и явно находящийся в противостоянии к «Revue Etrangere». В его программе говорилось о необходимости «современного просвещения в духе русской народности» и противодействия влиянию просвещения западного, исправлению его и переделки «в духе русской народности». Отметил Салтыков и «журнал словесности, истории и политики» «Сын Отечества», очень неровный по составу и авторов и публикаций, то прекращавшийся, то вновь возникавший с обновлённой программой. Может быть, наш юный читатель интуитивно чувствовал, что через много лет, в 1857 году, вновь трансформировавшийся еженедельный «Сын Отечества» откроет на своих страницах отдел иллюстраций к его гремевшим по всей России «Губернским очеркам»...

Никакого благолепия, ни интуитивного, ни педагогического не чувствовали к Салтыкову его наставники. В особенности, меланхолически отмечает Михаил Евграфович, его творческие искания преследовал учитель русского языка Гроздов. Эти обстоятельства влияли «на ежемесячные отметки “из поведения”, и Салтыков в течение всего времени пребывания в лицее едва ли получал отметку свыше 9-ти (полный балл был 12), разве только в последние месяцы перед выпуском, когда сплошь всем ставился полный балл, но и тут, вероятно, не долго, потому что в аттестате, выданном Салтыкову, значится: *при довольно хорошем поведении*, что прямо означает, что сложный балл его в поведении, за последние два года, был ниже 8-ми. И всё это началось со стихов, к которым впоследствии присоединились: “грубости”, расстёгнутые пуговицы в куртке или мундире, ношение треуголки с поля, а не по форме (что, кстати, было необыкновенно трудно и составляло целую науку), курение табаку и прочие школьные преступления». Это писалось треть века спустя всероссийски знаменитым прозаиком и публицистом, а в интонациях слышна знаменитая салтыковская ирония, замешенная на невозмутимости и полном понимании происходящего в реальности.

Тщательно отмечая время своих первых стихотворных опытов и то, что начал печататься именно со стихотворений, Салтыков вскоре стал относиться к ним критически. И не только к ним. Например, по воспоминаниям критика Александра Скабичевского, он однажды высказал «о поэтах парадокс, что они все, по его мнению, сумасшедшие люди.

– Помилуйте, – объяснял он, – разве это не сумасшествие – по целым часам ломать голову, чтобы живую, естественную человеческую речь втискивать во что бы то ни стало в размеренные рифмованные строчки. Это всё равно что кто-нибудь вздумал бы вдруг ходить не иначе как по разостланной верёвочке, да непременно ещё на каждом шагу приседая».

Скабичевский относит это высказывание к «сатирическим гиперболам великого юмориста», а мы, ему не возражая, всё же заметим, что историко-литературный и литературно-психологический интерес версификации юного Салтыкова всё же представляют.

Первое известное его стихотворение, «Два ангела», датировано им 23 сентября 1840 года. Парню пятнадцатый год, самое время для писания стихов. При всей внешней лирической стандартности сочинения к нему следует присмотреться, сопоставить смысл в нём сказанного с тем, что входит в классический свод наследия писателя.

Ангел радужный склонился
Над младенцем и поёт:
«Образ мой в нём отразился,
Как в стекле весенних вод.
О, приходи ко мне, прекрасный, —
Ты рождён не для земли.
Нет, ты неба житель ясный;
Светлый друг! туда!.. спеши!
Там найдёшь блаженства море;
Здесь и радость не без слёз, —

Клик восторга – полон горя —
Здесь и счастлив, – а вздохнёшь! <...>
В дом надзвёздный над мирами
Дух твой вольный воспарит,
Счастлив ты под облаками!
Небо Бог тебе дарит! <...>».
И умчался среброкрылый,
И увял чудесный цвет!..
Мать рыдает и уныло
Смотрит ангелам вослед!..

Это отнюдь не тот «ложный романтизм», который в те годы неустанно критиковал Белинский. Все стихотворение построено на противопоставлении неба с его «блаженства морем» и земли, где «и радость не без слёз». И потому следует говорить об оппозиции, не только главенствующей в пёстрой практике, но и имеющей фундаментальные, бытийственные основания.

С предельной ясностью юным Салтыковым представлена сама суть романтического мировидения, основанного на осознании непреодолимого противоречия между небесным идеалом и земной дисгармонией. Этот ключевой постулат философии европейского романтизма уже имел в русской литературе свои художественные воплощения, например, у Гоголя, творчески близкого к Салтыкову, в его «Невском проспекте» поистине философской метафорой звучит восклицание художника Пискарёва: «Боже, что за жизнь наша! вечный раздор мечты с существенностью!»

За этими словами – формула, пришедшая в Россию с немецких земель и получившая в конце концов наименование «романтическое двоемирие» или «двоемирие Гофмана» – по имени уроженца Кёнигсберга Эрнста Теодора Амадея Гофмана (1776–1822), немецкого классика, известного и любимого в России, пожалуй, больше, чем на родине. Салтыков не оставил собственноручных свидетельств о своём отношении к творчеству Гофмана. Но при его начитанности и при том ещё знании немецкого языка ничего не ведать о Гофмане и других немецких романтиках он не мог.

Романтизм ни в коем случае не может быть ограничен литературой или искусством. Романтическое мировосприятие имеет в своей основе фундаментальную идею, насчитывающую многовековую историю. Эта идея *противоположности Небесного и земного*. Суть знаменитого романтического двоемирия (пока без наименования таковым) задолго до Гофмана и его литературных собратьев обсуждалась Платоном (не бдительным слугой Салтыкова, а древнегреческим философом) и Блаженным Августином. Так, в диалоге «Политик» Платон повествует о существовавшем в незапамятные времена совершенном мире «под властью Кроноса». «Тогда, вначале, самим круговращением целиком и полностью ведал [верховный] бог, но местами, как и теперь, части космоса были поделены между правящими богами». По Платону, мир «то направляется богом – и тогда движения его правильны, то предоставляется самому себе – и тогда он движется беспорядочно и смутно». В зависимости от этого находится жизнь людей, которая «тоже делается беспорядочной, смертной, так что весь человеческий род погибает, а люди, вырастающие из земли вследствие падения на неё остатков небесной человеческой души, ведут жизнь весьма озабоченную и затруднённую, вечно болеют и умирают». Это происходит «в противоположность прежней жизни при Кроносе, которая была вполне беззаботна и счастлива» – «ввиду “судьбы и врождённого космосу вождения”, ибо он и бестелесен, и причастен телу».

С полной определённой выражена противоположность Божьего царства (*civitas Dei*) и земного царства (*civitas terrena*) в знаменитом сочинении Аврелия Августина «О граде Божьем». Через много веков (мы всего лишь проводим пунктир) эту идею подхватил роман-

тизм. «В сознании романтических мыслителей – свидетелей заката французской революции – *идеал* и *реальность* истории располагаются... <...> в разных плоскостях, – писал филолог и культуролог А. В. Михайлов. – Идея, идеал бесконечно выше, существеннее реальности». И далее: идеал «подкрепляет старинное, традиционное, восходящее к мифологии дуалистическое представление о противоположности небесного и земного, богов и людей, неба и земли. Идеал для романтиков – это орудие критики исторической реальности с позиций идеала».

Теперь нам остаётся только раскрыть книги Салтыкова и убедиться, что обозначенная романтическая оппозиция, усвоенная им в юности, остаётся для него непреложной на протяжении всей творческой жизни.

«Предположим, читатель, что путём наблюдения, размышления и размена мыслей ты дошёл до некоторых положений, совокупность которых составляет твой так называемый идеал. Предположим даже, что это совсем не тот мошеннический идеал, который заключается именно в отрицании необходимости и плодотворности идеала в жизни, но идеал поистине честный, могущий дать действительное мерило для оценки явлений. Обладая своим сокровищем, ты мыслишь идти твёрдой стопой по жизненному пути; ты рассматриваешь и обсуждаешь; одному явлению присвоиваешь название худого, другому – название хорошего; одним словом, ты расправляешься в мире, как в своей собственной квартире, и с восхищением видишь, как перед умственным твоим оком встаёт целая картина, в которой недостаёт только балетной мифологии, чтобы дело было совсем как следует. Но увы! практика на каждом шагу разбивает твой идеал, и даже не идеал собственно, а, что всего обиднее, разбивает его отношение к действительности. Она говорит: ты можешь иметь всякие идеалы, какие тебе заблагорассудится, но в то же время обязываешься хранить их для себя и для друзей. Повторяю: это очень обидно. С разбитием идеала примириться можно, потому что здесь есть возможность прийти, по крайней мере, хоть к внешнему оправданию такого факта; можно, например, солгать себе, что идеал, которым я доселе питался, оказывается слабым и ложным и что путём убеждения меня привели к сознанию этого грустного обстоятельства; но примириться с бессилием, но признаться себе, что сам-то я молодец, да вот руки, ноги у меня связаны, не позволяет ни самолюбие, ни здравый смысл. Я полагаю даже, что от одной мысли об этом бессилии можно с ума сойти и постепенно довести себя до зубовного скрежета. “Господи! да где я? да что со мной делается?” – придётся беспрестанно восклицать жадному искателю идеалов в этом море яичницы, каковым представляется жизнь, не выросшая ещё в меру естественного своего роста».

Это из салтыковского обозрения «Наша общественная жизнь» декабря 1863 года. Интересное время, когда в «Современнике» невероятным образом, то есть очень по-русски проходит цензуру и печатается роман Чернышевского «Что делать?», весь закрученный вокруг фантазмагорической идеи построить на земле Царство Божие, а Салтыков начинает подумывать о возвращении на государственную службу, что через год и происходит. Искатель идеалов вновь кидается в «море яичницы», прекрасно понимая, что не обретёт ничего, кроме практикования в сноровке приспособленчества, которую можно для облагораживания назвать компромиссом...

«Существует в Европе и, вероятно, в целом мире политическое и философское учение, известное под именем учения о компромиссах и сделках, – напишет Салтыков ещё через десяток с лишним лет, когда грёза о гражданственных подвигах на государственном поприще окончательно будет развеяна отставкой. – Сущность этого учения заключается в том, что человечество должно подвигаться вперёд, отступая. Некоторые адепты этого учения ещё сохранили память о кой-каких идеалах и собственно ради их достижения рекомендуют уступки и компромиссы; но другие до того завертели в беличьем колесе компромиссов, что уже ничего впереди не видят и ничего назад не помнят, а смотрят на жизнь как на исторически организованную игру, в которой никакой цели никогда не достигается, хотя все формы неуклонного поступательного движения имеются налицо».

Очерк вместе с этим суждением Салтыков включит в очень важную для него книгу «Недоконченные беседы (Между делом)», выпущенную вскоре после закрытия его журнала «Отечественные записки».

Развесёленькое дельце! Бурно развивается наука, тут же продвигая технику – когда Салтыков приехал учиться в Москву в 1836 году, фотографии ещё не существовало, и Пушкин, например, так и не успел сфотографироваться. В 1839 году Луи Жак Дагер запатентовал свою дагеротипию, которая недолге стала называться фотографией, и уже Гоголь смог оставить потомкам своё фото. А дальше пошло-поехало: в семидесятых годах уже вовсе стала развиваться фотография цветная. . . Вот сажают тебя в кресло перед аппаратом, несколько движений, некая возня с растворами и ванночками, немного ожидания – и пожалуйста: это ты, никакие художники теперь не нужны, разве что карикатуры рисовать! Философы-позитивисты, торжествуя, пишут о науке без берегов. Да что там философы! Все одержимы вопросом: «Нет ли в самой жизни чего-то такого, что ставит разделяющую черту между идеалами человека, с одной стороны, и практической, живою его деятельностью – с другой?» *С улыбкой познанья* всё попробуем на вес и на зуб.

Немец Давид Фридрих Штраус пишет «Жизнь Иисуса». Бог, может, и есть, но в рамках природных законов, надо выбирать: или наука, или чудо, Евангелие – лишь неграмотная запись проделанного эксперимента, сделанная старательными, но необразованными лаборантами. Почти через тридцать лет, в один год с «Что делать?» публикует свою «Жизнь Иисуса» француз Жозеф Эрнест Ренан, явно начитавшийся романтиков, но воспринявший их идеи самым вульгарным образом. Ренану и Бог уже не нужен, лишь десять заповедей, как некая культурная легенда, укоренившаяся в сознании лишь в силу давности её бытования. . .

Салтыков прямо не высказывался по поводу сочинений Штрауса и Ренана, но зная круг его чтения и то, что печатали его журналы «Современник» и «Отечественные записки» (а кто станет утверждать, что он не следил за публикациями и «Русского вестника?»), осмелимся предположить: и о Штраусе, и о Ренане ему было ведомо немало. Иначе откуда бы появиться салтыковской язвительной реплике в письме твердокаменному позитивисту Пыпину: «И всё это так серьёзно, точно Ренан с Штраусом переписку ведут!» Речь здесь идёт о довольно грязном обмене открытыми письмами между Ренаном и Штраусом в 1870 году, в период Франко-прусской войны (не по поводу отношению к Христу, а по поводу определения истинных врагов цивилизации). Письма эти немедленно перевели, издали в Петербурге, а следом отрецензировали в «Отечественных записках». С незадачным, но понятным вопросом: какое понимание противоположности Божьего и земного царств можно искать в головах этих авторов «Жизни Христа», если они даже о принадлежности Эльзаса Лотарингии договориться не могут?

Это историко-культурное отступление без уклонения важно потому, что в мировоззрении Салтыкова, наряду с незыблемостью метафизической оппозиции *идеал – реальность*, определяющей всё и в творческом сознании, и даже в бытовом поведении (с молодости Михаил Евграфович славился как несносный ворчун), была неиссякаема энергия изучения того, как люди в подлунном мире справляются с обстоятельствами, обусловленными этой оппозицией, энергия поиска примеров этого тотального единоборства человека с несовершенствами жизни.

«Мне кажется, что писатель, имеющий в виду не одни интересы минуты, не обязывается выставлять иных идеалов, кроме тех, которые исстари волнуют человечество. А именно: свобода, равноправность и справедливость. Что же касается до практических идеалов, то они так разнообразны, начиная с конституционализма и кончая коммунизмом, что останавливаться на этих стадиях – значит добровольно стеснять себя. Я положительно убеждён, что большее или меньшее совершенство этих идеалов зависит от большего или меньшего усвоения человеком тайн природы и происходящего отсюда успеха прикладных наук. Ведь семья, собственность, государство – тоже были в своё время идеалами, однако ж они видимо исчерпываются. Устраиваться в этих подробностях, отстаивать одни и разрушать другие – дело публицистов. Читая

роман Чернышевского “Что делать?”, я пришёл к заключению, что ошибка его заключалась именно в том, что он чересчур задался практическими идеалами. Кто знает, будет ли оно так! И можно ли назвать указываемые в романе формы жизни окончательными?»

Это из достаточно известного письма Салтыкова 1881 года – впрочем, известного лишь в узкой литературной среде, ибо долгие десятилетия из-за вольно препарированных реалий, сакрализованных большевиками, его старались не упоминать. Далее в этом письме (пересказываю лишь из экономии места) Салтыков говорит о необходимости всегда отстаивать лишь один частный идеал – «идеал свободного исследования», под которым он понимает литературное творчество.

А теперь обратимся к самому первому опубликованному стихотворению Салтыкова. Хотя воспитанники выпускали в лицее рукописные журналы и альманахи («Лицей», «Столиственный», «Вообще»), как видно, Михаил стремился проверить себя в настоящем литературном пространстве. Его «Лири» была опубликована в 1841 году в третьем номере журнала «Библиотека для чтения». Здесь представлены «два мужа» с «русского Парнаса», отличные тем, что:

К ним звуки от неба слетели
И приняли образ земной.

Установлено: Салтыков имел в виду Державина и Пушкина, причём сожалея, что последний «песни допеть не успел», автор утешался: «исповедь сердца» была допета «в светлой обители неба». В стихотворении ясно выражена мысль о лире как единственном «утешении среди бурь и волнений земли»: лишь она способна облечь «в волшебные звуки» мира «безжизненный холод». Это стало и убеждением самого Салтыкова, хотя это своё стихотворение, как и другие лирические опыты юношеских времён, он оценивал критически и не раз заявлял, что после лицеза *ни одного стиха не написал*.

Между тем в лицее существовала традиция устанавливать в каждом выпуске продолжателя Пушкина. В XI выпуске таковым был назван Владимир Зотов, впоследствии плодовитый драматург, ныне совершенно забытый. Он начинал со стихов, и, печатая их в «Маяке», его издатель, экстравагантный Степан Бурачок, назвал Зотова «вторым Пушкиным». В лицее Салтыков с Зотовым сдружились: оба были и книголюбями, и театралами.

Пушкин XII выпуска Николай Семёнов, дослужившийся до сенатора, активно участвовал в проведении Крестьянской реформы и впоследствии выпустил фундаментальное исследование «Освобождение крестьян в царствование Императора Александра II», удостоенное академической премии. Государственные занятия Семёнов сочетал с литературными и как переводчик Адама Мицкевича получил известную Пушкинскую премию. Заслужил этот разносторонний человек благодарность и от ботаников – за свою «Русскую номенклатуру наиболее известных растений». В Пушкины XIV выпуска попал Виктор Павлович Гаевский, также не посрамивший своего лицейского титула. Он стал крупным юристом и одним из первых пушкинистов, также известен как один из основателей Общества для пособий нуждающимся литераторам и учёным (Литературного фонда), не раз избиравшийся его председателем. С лицейских времён он был одним из ближайших друзей Салтыкова и входил в раблезианскую «компанию мушкетёров», о которой будет своевременно и подробно рассказано.

Ну а Пушкиным XIII выпуска стал Михаил Салтыков. И это решение лицеистов, как видим, тоже имело все основания. Тем более что он напечатал в настоящем журнале не только «Лиру». Накануне выпуска два стихотворения, причём подписанные его фамилией, без псевдонимов, опубликовал журнал «Современник», основанный Пушкиным и редактируемый его другом, ректором Санкт-Петербургского университета Петром Плетнёвым. Правда, по признанию Салтыкова, в лицее особенно ценили «Отечественные записки», а в них – критические статьи Белинского, но в это издание, как видно, он постучаться не решился.

Литературная львица и одарённая писательница Авдотья Яковлевна Панаева, пережившая многое и многих, среди коих был и младший годами Салтыков, рассказывала, что встретила его «в начале сороковых годов» в доме петербургского остроумца, хлебосола, библиофила Михаила Александровича Языкова. Салтыков гостил у него по праздникам. «Юный Салтыков и тогда не отличался весёлым выражением лица. Его большие серые глаза сурово смотрели на всех, и он всегда молчал. Помню только раз на лице молчаливого и сумрачного лицеиста улыбку. Он всегда садился не в той комнате, где сидели все гости, а помещался в другой, против дверей, и оттуда внимательно слушал разговоры.

Как теперь помню Белинского, расхаживающего по комнате, заложив, по обыкновению, руки в карманы и распекавшего А. С. Комарова, известного всему кружку хвастуна. У Комарова было плаксивое выражение в лице, так что смешно было на него смотреть. Панаев, Языков и ещё двое не литераторов, но постоянных членов кружка, слушали его распеканье. Я сидела против двери, и мне было видно лицеиста.

– Господи, зачем я вру! – патетично воскликнул Комаров.

– Мамка вас в детстве зашибла! – заметил ему Белинский.

При этих словах на лице у лицеиста изобразилась улыбка.

– Чудеса, сегодня ваш мрачный лицеист улыбнулся, – сказала я Языкову.

– Я знаю, – отвечал Языков, – что он ходит ко мне, чтобы посмотреть на литераторов.

Он сам стихи пишет, и их напечатали в “Библиотеке для чтения”. Кто знает! может, и будет со временем известным поэтом».

«Библиотеку для чтения», «Отечественные записки», правда, наряду с «Сыном Отечества», Салтыков советовал выписывать и родителям. Ольга Михайловна не раз навещала сына в лицее, причём в первый приезд постаралась, помимо встреч со своим чадом, нанести визиты педагогам. Она даже познакомилась с директором лицея генерал-лейтенантом Фёдором (Фридрихом-Агатусом) Гольтгоером, который за долголетнее управление – хочется написать «командования» – вверенным ему учебным заведением перестроил в нём многое на военный манер. Само его назначение не было произвольным: в 1822 году лицей был передан из подчинения Министерству народного просвещения в военное ведомство. Не вникая в лицейские программы – отношения с русским языком у генерала-немца были непростыми, – Гольтгоер поставил в основу всей лицейской жизни строжайшую дисциплину.

Ольга Михайловна осталась довольна: «Приехав в Лицею, я увидела Мишу, который здоров, мил, очень вырос, ловок стал, хорошо учится и ведёт себя; словом, я полюбила на него. Он был обрадован до крайности нам. Тут я пробыла до понедельника, а в его время полюбила на Царское Село... Познакомилась я с семейством Мишина Начальника, генералом, его описать нельзя, что за почтенное семейство, и они все меня обласкали. Также познакомилась с инспектором, его семейством и г-ном Бегеном и протодьяконом и всеми их семействами, все меня обласкали, и я как будто с ними со всеми давно знакома...»

Гольтгоера вскоре, правда, сменил другой генерал – Дмитрий Богданович Броневский. При нём лицей в сентябре 1843 года перевели из Царского Села в Санкт-Петербург, на Каменноостровский проспект и переименовали, в память об основателе он стал называться Императорским Александровским. В лицее начались серьёзные преобразования в системе преподавания с расширением места для юридических наук и языков. Однако лицеиста Салтыкова и его выпуск они коснулись лишь в малой степени. Тем более что весной 1843 года он вместе с однокашниками выступил против профессора Флегонта Васильевича Гроздова, чьи педагогические чудеса ему навсегда запомнились. Бунтарям пригрозили исключением и отправлением на службу простыми канцеляристами, но это Салтыкова не испугало, и он решил всё же вернуться к своей мечте – поступить в университет.

Однако родители были начеку (они оба все лицейские годы опекали Мишу, возлагая на него особые надежды, хотя мать и сетовала на его «строптивое безздравие»). Тем более что

старший сын Дмитрий, который после окончания московского Дворянского института начал делать карьеру, теперь, служа в Петербурге в лесном департаменте Министерства государственных имуществ и, как видно, собравшись жениться, решил выйти в отставку. Ольга Михайловна вновь проявила свою стальную волю и развеяла завиральные идеи своих отпрысков. «На весьма скользкую и безнадёжную надежду я никак не могу согласиться, потому что это неосновательно, как нельзя хуже, – писала она Дмитрию. – Что иначе нельзя согласиться на переход в университет как с I-го курса, с самого начала и поместиться в казённое заведение со взносом денег, чтобы на всём казённом, а не так самовольничать, как Николай-свет, который останется на всю жизнь потерян от себя, а судьбу Божию кладёт на отца за баловство, на мать, что строга была». К сожалению, ни «строгости», ни жизненной силы Ольги Михайловны на всех не хватило. Николай Евграфович, второй её сын, окончивший Дворянский институт, на выпуске уже из Московского университета осенью 1842 года впал в меланхолию и испытал «желание на самоубийство», причём не впервые. Вразумления матери помогли мало, и в дальнейшем «сын-злодей» приносил ей, окружающим да и себе самому только хлопоты.

А Михаил в 1844 году лицей окончил. Как пушкинский выпуск был первым в Царском-сельском лицее, так их тринадцатый выпуск становился первым выпуском Александровского лицея. При выходе из лицея Салтыков, хотя и с титулом здешнего Пушкина, получил лишь чин коллежского секретаря, то есть, по собственному признанию, отличником не был. Сам он объяснял это тем, что «заленился» с начала учения, обнаружив, что многое уже изучил в институте, а здесь приходится «повторять зады». Как казённокоштный воспитанник Салтыков должен был теперь не менее шести лет состоять на государственной службе.

Запутанное дело

Но милостив государь император, милостив и его Правительствующий сенат. Согласно сенатскому указу от 17 июля 1844 года, выпускаемые воспитанники лицея определялись «на службу в разные ведомства, согласно с их желанием». Причём делалась особая оговорка: «Если в избранных ими местах не будет пристойных вакансий, то до открытия оных, производить им... <...> жалование из государственного казначейства по следующему назначению...»

Михаил, при поддержке родителей, выбрал Военное министерство, но зачислили новоиспечённого коллежского секретаря в министерскую канцелярию лишь сверх штата. Согласно вышеприведённому указу, ему было назначено 700 рублей в год ассигнациями (для сравнения: в Дворянском институте зачисленному комнатным сторожем Платону положили триста рублей в год).

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.